

Глеб Иванович Успенский

Тише воды, ниже травы



Глеб Иванович Успенский
Тише воды, ниже травы
Серия «Разоренье», книга 2

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=664935

Аннотация

Материалом для повести «Тише воды, ниже травы» послужили факты из земских и судебных дел, собранные Успенским в 1867 году в Крапивне и Липецке, а также почерпнутые из опыта учительской работы самого писателя (в г. Епифани Тульской губернии в 1867 году), его жены А. В. Успенской и его сестры Е. И. Успенской. Не случайно повесть вызвала возмущение местных обывателей, узнавших себя в ее персонажах. Успенский писал об этом жене 20 июня 1870 года из г. Крапивны: «Моя повесть «Тише воды» наделала здесь дел, – все перессорились и переругались, и я боюсь, как бы в самом деле не сорвали зла на сестре и матушке».

Содержание

1	4
2	7
3	13
4	19
5	26
6	38
7	44
8	56
9	65
10	75
11	90
12	105
13	128

Глеб Иванович Успенский

Тише воды, ниже травы¹

(Дневник)

1

*Уездный город*** Август 186* г.*

«Случилось то, что рано или поздно, но непременно должно было случиться: третьего дня я прибыл в уездный город*** и очутился *«на руках»*² (вот что особенно горько!), на руках старушки-матери. Мало она меня носила на этих несчастливых руках!

Тихо шел я по пустынным улицам уездного города, слушал давно забытый звон к вечерне и думал, что теперь волны русской жизни плотно и надолго прибили меня к берегу. Потому надолго, что я устал, что мои ноги гудут и ноют, что мне хочется лечь спать. Потому надолго, что больные кости приобретены мною в продолжительном и бесполезном томлении о своем и окружавшем меня ничтожестве вообще и в непрерывном содрогании пред могуществом плети и обуха.

² ...очутился «на руках»... – Одной из мер репрессии, применявшейся царским правительством по отношению к лицам, участвовавшим в освободительном движении, была высылка на родину под надзор (на поруки) родителей.

Я двадцать раз думал, что это «не так», теперь, кажется, уже не думаю. Теперь мне спать хочется и сил нет. Зерно апатии спеет в душе.

Помню, во время дороги сюда случилось нам остановиться близ новой строящейся железной дороги. У одного из деревянных барачков я заметил целую толпу мужиков, которые валялись ничком, разбросав руки и ноги как попало. С первого взгляда их можно было принять за мертвецки пьяных; но оказалось, что они скорее напоминают рыбу, выброшенную на берег, обессиленную и изнывающую на солнце.

– Что с вами, ребята? – спросил я их.

– Ослабши!.. – еле проговорил один из них, старик, с великим трудом поднимаясь на локте и стараясь согнуть колено... – Дюже аслабши! Кровь пушали...

Старик повалился на спину, не удержась на локте, и я долго ждал, покуда он снова придет в себя.

– Должно быть, много очень крови вам выпустили?..

– Да, надо быть, что перепустил... передал...

– Как же это так? Доктор-то есть у вас?

– Ох, да есть он... О-о-о... Да свой у нас доктор-то, неученый... простой... У яво положенная препорция насчет эфтого... кровопролития... примерно... Есть стакан у него в гривенник... и есть у него в двугривенный стакан... О-о-оохх... Ну-ну... хочешь ежели ты фунт крови твоей отлить – ну, гривенишный стакан нальет... А ежели ты два фунта пожелал... О-ох... Осслабши... Перпустил...

Что же? – прежде, бывало, я бы уж непременно вмешался в это дело, а если бы и не вмешался прямо, то уж во всяком случае настроил бы хоть корреспонденцию, теперь же я только сказал мужикам: «Эх-ма, как же это вы так?..», спросил: «легче ли?» и, получив ответ: «надо быть, легче», надел шапку и уехал...

2

«Но самое действительное средство, приковывающее меня к обезличению, это матушка и сестра. Я почти позабыл об их существовании; знаю, что несколько раз в течение десяти лет разлуки с ними я посылал им по нескольку рублей, но вообще что-то очень немного. Денег у меня было мало; а когда и случались, то большей частью тотчас же уходили на какое-нибудь такое дело (множество было их тогда), которое казалось мне и выше и нужнее потребностей матушки. Часто приходилось мне забывать ее нужды. Положим, что и свои я тоже не имел времени помнить, но теперь я мучусь этим. Какие результаты этих забвений?.. Результаты те, что я каждым шагом, каждым неосторожным движением моим могу разрушить все благосостояние матушки и сестры, доставшееся им собственными невыносимыми трудами, путем каких-то протекций и просьб, – благосостояние, которое хуже каторги, которое они, однако, считают счастьем и взамен которого я им ничего даже обещать не могу.

Когда я явился к ним, радости не было границ; целуя меня и раздувая самовар, смеясь и плача, они рассказали мне, что живут отлично, что квартира у них казенная, что сестра – начальница женского училища и получает десять рублей, а мать – помощница и получает семь, что все «слава богу!»

– И как, я тебе скажу, Вася, купечество нас полюбило, –

говорила мать: – так это просто необыкновенно!.. Пирог ли, именины ли, всё – нас, всё – нас!.. И Надю как любят – не нахвалятся!..

– Да, да! – подтвердила сестра: – мне даже уж скучно от этих приглашений... Я не знаю, за что они меня полюбили.

– Как за что? Господи боже мой! Вон и Семен Андреич говорит: «как, говорит, не полюбить». Господи боже мой!.. Ты погляди-ко на нашу школу, какой порядок, так это на редкость... Да опять – всем им угодить нужно... Легко это?..

В ответ на все это я, разумеется, мог только поддакивать, потому что знал, какая начинается чушь за пределами этого «угодить». Все были по этому случаю веселы; имя какого-то Семена Андреича звучало очень часто в рассказах сестры и матери. На флегматическом и бледненьком лице моей сестры часто мелькала какая-то недоумевающая тень, которая, впрочем, почти мгновенно исчезала, когда мать говорила: «Семен Андреич не соврет уж, стало быть...» Сестра тотчас же припоминала подлинные слова Семена Андреича и делалась веселее. «Правда, Вася?» – обращалась она ко мне. Я подтверждал. Я все теперь подтверждал!

Из разговоров их я понял, что Семен Андреич – практическая уездная штука; что все его любят; что у него есть про запас деньжонки, несмотря на то, что он уездный учитель; что одевается он хорошо, никогда не пьян и избран старшиной в клубе. Купить что нужно – купит дешево; все знает и что понадобится – сделает. «Пять рублей мы у него раз за-

нимали – с удовольствием дал. Как получили, отдали...»

Словом, мать находила, что он отличный человек; сестра говорила: «да, он здесь первый...» А когда этот хороший человек пришел вечерком к нам, то матушка тотчас засуетилась и отозвала меня в другую комнату.

– Ты извини, голубчик! – сказала она топотом: – ты при нем не скажи чего-нибудь про учителей.

– Нет, нет...

– Извини, милый мой! А то, пожалуй, кто его знает? – разозлится еще!

– Нет, нет, будьте покойны.

– Прости!..

Семен Андреич – фигура уютная, плотная, впрочем весьма умеренная, покойная; не стар и не молод: выпить может пять бутылок – и пьян не будет; выступает не спеша; одет прилично, а главное – дешево. Впоследствии я узнал, что он очень любит это слово; в этот же вечер он взял себя за рукав и, глядя на сукно, рассказал целую историю, потом сосчитал все копейки, подвел итог всему, что и во что обошлось, и засмеялся. И действительно, вышло ужасно дешево.

– А я, – сказал он, не спеша и усаживаясь на стул, – шел, признаться... (Тут он стал доставать платок и не нашел.) Куда же это я его сунул? в шапке? (Происходит отыскивание шапки, но платка нет.) Нет, в шапке нет... Не в пальто ли?

– Вы поглядите в пальто, – говорит мать и со свечкой уходит вместе с учителем в кухню.

Происходят поиски; платок отыскивают. Семен Андреич садится на прежний стул, расправляет платок и говорит:

– А я, признаться, шел... (тут он обходится посредством платка, наконец запихивает его в задний карман и оканчивает) дай, думаю, зайду...

– Вот и чудесно! Прямо к чаю! – сказала матушка.

Семен Андреич засмеялся, поправил борты сюртука и покосился, впрочем без злобы, на меня.

Я подался в угол. Разговоры его продолжались с тою же неторопливою манерою; но, несмотря на мое молчаливое присутствие в углу, он как будто стеснялся меня, как незнакомаго человека, у которого неизвестно, что на уме.

– Вася! – отозвала меня матушка: – ты поговори с ним поаккуратней! Извини, голубчик! Как бы не подумал: приехал, мол, из Петербурга критиковать.

– Да я с удовольствием...

– Пожалуйста! Так что-нибудь... Поласковой! Он у попечительницы бывает... как бы что-нибудь...

– Не беспокойтесь, не тревожьтесь! – сказал я.

Я собрался с духом и стал что-то говорить, даже смеяться. Должно быть, я угодил этому борову, потому что он ободрился и из круга уездных интересов мало-помалу стал довольно самоуверенно вламываться в области, ему, повидимому, весьма слабо известные.

– Скажите, пожалуйста, – говорил он, с лукавой улыбкой поглядывая на мать и сестру: – что, ежели, например, напи-

сать статейку?

– Что же? – мог я только сказать: – отлично!

– Гм... Право? Как вы думаете?

– Превосходно! – сказал я. – Что же?

– Ничего?.. Гм! А тут, я вам скажу, много можно, ежели захотеть... Так, хоть постращать... Тут – и-и-и можно сколько! Я давно собирался, да все думаю... чорт с вами! А, ей-богу, как-нибудь надо... Например, ежели описать, как у меня шапку в клубе украли... А? как вы думаете?.. Ведь это что же? ежели хоть так, для примера я возьму, – ведь все-таки же два с полтиной, как бы то ни было... А подите-ка у нас, разыщите!

Я решительно не знал, что говорить; однако говорил.

– Ведь пишет же этот, как его... Белинский, что ли, в «Сыне отечества»³!..

– Едва ли Белинский... – начал я совершенно невольно.

– Вася! – быстро окликнула меня мать и увлекла в другую комнату. – Не спорь! Не спорь с ним!

Я замолк.

Хороший человек ободрился, выпил бутылку водки, но пьян не был. По его приглашению и из боязни, чтобы не разлился, и я пил, сколько мог. В конце концов речь перешла на взаимную любовь; матушку мою хороший человек любил, как родную, а относительно сестры сказал с особенной вы-

³ «Сын отечества» – исторический, политический и литературный журнал консервативного направления, издавался в Петербурге с 1812 по 1852 год.

разительностью:

– Мы вот как дружны – дай бог всякому!.. Потому что мы оба профессора с ними, хе-хе-хе! Тоже пользу приносим, хе-хе-хе!

– Что вы смеетесь? – сказала сестра: – разумеется, пользу! Правда, Вася?

– Разумеется!

Сестра сказала это с полным убеждением, так что Семен Андреич устроил у себя серьезное лицо и произнес, как-то потупясь и расставляя руки:

– Да, само собой... Господи боже мой! Да кабы не пользу, так кто же бы стал бы! Господи боже мой, само собой!..

Порядок был восстановлен, и снова пошли изливания. Теперь уже матушка заявляла, что любит его, как родного, и сестра тоже что-то было хотела сказать, но покраснела. В заключение и меня попросили любить его, как родного.

Я на все был согласен, и счастливый вечер продолжился в том же порядке довольно долго.

– Васенька! – сказала мне матушка по уходе гостя: – будешь ложиться, так поставь сапоги под кровать, а не в кухню... а то, пожалуй, кто-нибудь... подумает...

Я готов был проглотить мои сапоги, лишь бы никто ничего худого не подумал про сестру до тех пор, пока доподлинно не узнают, что сапоги принадлежат «родному брату»...

3

«...И при всех таких путях как, однако же, трудно удержать в душе эту совершенно обстоятельно доказанную потребность молчания. В Петербурге возможно достигнуть этого с гораздо большим успехом; среди ярких контрастов, составляющих столичную жизнь, может и разгореться до пламени и совершенно угаснуть несчастная болезнь – любовь к ближнему. Но здесь, среди народа, она только разгорается... Даже степи, еще только начинающиеся у истоков Дона, по временам сильно допекали меня. И кажется, чему бы тут донимать? Горизонт, не представляющий взору ничего, кроме длинной туманной нити земли и неба; упорный ветер, неумоимо несущийся навстречу одинокому нищему пешеходу, терзающий одинокую ветлу, бьющий о задок кибитки ровно, мерно, скучно... Что тут? А ведь с ума сойдешь! Ни лесочка, ни жилища на протяжении двадцати верст... Вот обогнала нас, словно обезумев от кнута, маленькая тощая лошаденка, запряженная в громадную телегу; в телеге помещается пять мужиков, и шестой – солдат – свесил ноги с задка... Все это пьяно, весело, все это орет, шатается, горланит, хлещет клячу и, повидимому, совершенно забывает о том, что сию минуту какой-то проходимец, благодаря щедрому угощению которого они и пьяны, отхватил у них нужные ихним семьям луга лет на пять вперед, положив таким образом на-

чало будущему разоренью. Хорошо, что с этой пьяной телеги соскочило колесо и вся компания рассыпалась в разные стороны – по крайней мере ее можно обогнать и не видеть этих горьких людей, ворочающихся в грязи, со спутанными на лице волосами, не видеть этой почти истерически дрожащей лошадки.

И опять рогожа бьет в задок, и ветер гудит навстречу.

Подходит вечер; темно; мысль утомлена. Но вот, наконец, замелькали огоньки; среди пустыни вырастает громадное степное село; на темном небе чернеет несколько колоколен; у въезда, в кузне шумят мехи, летят искры. Пошла широкая улица, обставленная каменными домами; соломенные крыши неприметны в темноте; попадаются постоянные дворы и дома двухэтажные с резными крыльцами, поднимающимися с улицы прямо в середину второго этажа. Вот трактир с фонарями и сияющими окнами, в которых виднеются люди. Слава богу, жилое место!

Но что же значит, что, завидев нашу кибитку с высоких резных крылец и отворотных лавочек, начинают бежать за нами толпы людей, и вся улица оглашается криками: «Раабооота!.. Эй, сдай проезжего!.. Эй! отдай!..» Что значит, что ямщик наш начинает гнать лошадей во всю мочь, махая над кибиткой и над тройкой концами вожжей и крича: «У нас свои есть, кому сдать! Своему сдадим!..»

Он не замечает, что мы избиты толчками, задушены поклажей и сеном, выбивающимся со дна телеги; он вырывает

«работу» из жадных до нее рук своих собратий и тащит нас в какие-то низенькие ворота, которые захлопываются тотчас же, как только мы вкатываем под темный навес крестьянского двора.

– Какому разбойнику сдаешь? – слышно с улицы: – Барин! барин! он вас убьет...

Но этот ропот толпы заглушается горделивыми возгласами ямщика, который, похаживая по двору с кнутом в руке и в расстегнутом полушубке, вопиет:

– Эй, получи работу!.. Тетери сонные! Где вы тут?

В голосе его слышно торжество. И это торжество начинается. Из всех углов, где в темноте пищат больные дети, вылезает множество разных нужд... Никто не спрашивает: кто мы, куда, зачем? – все внимание сосредоточено на трех рублях, врученных моими спутниками в задаток. Является множество людей, предъявляющих самые основательные права на долю в них. Старушка подползла к телеге и требует полтину. Человек в белой рубахе и жена его и еще два человека в белых рубахах с женами требуют тоже по полтине. Вылезает древний старик. Кряхтя и ошупью хватаясь за столбы навеса, пробирается он к телеге, долгое время молча трясет дряхлой головой, причем слышна хрипота в груди, и шепчет: «Родителю... старичку... колько-нибудь... хучь колько вашей милости...»

В толпе раздается: «Братцы!.. Боже мой!..» – «Ловки вы! завтра, небось, базар!..» – «Ах, боже мой!..» – «Я лошадь

даю! Поди к соседу – даст ли?» – «И пойду». – «И пойдись!..»

Пока пьют магарыч, пока запрягают лошадей, длинные сухие остовы которых выступают на середину двора медленно, уныло, с клочком недожеванной соломы во рту, – пока все это происходит, мы успеваем узнать, что во дворе у хозяина не чисто, что в два года у него пало три тройки, что ребенок болен, «пучит», что нужна растирка; а растирки настоящей нету. Развивается нестерпимая жажда уйти отсюда.

На дворе уже черная степная ночь. Моросит дождик. Тьма ночи, сливаясь с черною, как смоль, степною грязью, образует что-то до того непроницаемое, что глазам становится больно. Лошади идут шаг за шагом. Помню, пришлось нам ночевать в кабаке среди поля. В кабаке, прилепившемся около мельницы, было грязно, неудобно; ни лампадки, ни ветки за образом, ни картинки на стене, словом – ничего, на чем бы мог остановиться глаз; голые стены, запах сивухи, стол, лавка и громадные дыры в полу – «от плясу», как объяснил целовальник. До глубокой ночи я не мог сомкнуть глаз: дождь стучал, и ветер ломил в гнилую раму; воображение, разыгравшееся на тему об этих пляшущих людях, до того измучило меня, что я не знал, как дождаться белого света, дня.

Утро было прелестное. Против кабака на мельнице уже стучали поставы, и из амбаров неслась белая пыль, и шумели, как шелк, крылья множества прилетавших к амбарам и улетавших голубей. Солнце ярко и тепло пригревало сырую землю; вода шумно неслась с плотины и шумела внизу. Дер-

жась в стороне от водопада, дрожала лодка; два мужика в мокрых штанах и рубахах доставали из воды верши и вытряхивали на дно лодки мелкую сверкавшую рыбу. Все это более или менее выбивало из моей головы ночную муку.

Я пошел было на мельницу, но в воротах амбара наткнулся на мужика, который рылся где-то у себя в сапоге и нищенским голосом говорил надсмотрщику:

– Э-эх, бра-ат!.. А я думал – копеечку мне пожертвуешь на калачик?..

– Нечего, нечего! – говорил надсмотрщик, смотря мужику на сапог и позвякивая деньгами в горсти.

– Андреян!.. Э-э-эх, брат!..

Я сейчас же ушел отсюда и наткнулся на сцену, которая спасла мне утренний отдых. На крыльце флигеля, выстроенного против мельницы, сидел, повидимому, главный приказчик. Засунув одну руку в карман бешмета, он другой рукой щекотал брюхо паршивому маленькому щенку, который валялся у его ног.

– Э, злая bestия! – бормотал он. – Э! Уж и продувная только шельма уродилась... И как тебя, шельму, окликнуть? а?.. Ишь, ишь, зубастая тварь... О-о-о! Нечего, нечего! – подняв на минуту свое веселое лицо, крикнул он по тому направлению, где надсмотрщик стоял «над мужиком», выматывая из него деньги, и снова сосредоточился над щенком, который уже отбежал от него и, сидя на земле, беззаботно трепал свое ухо лапой...

– Скажите на милость, – отнесся приказчик ко мне, как к старому знакомому: – что за чудо! Все думаю, как мне его назвать, ну не нахожу слов – и шабаш!..

– Как-нибудь, – сказал я. – Подумайте.

– Уж думали-с; уж очень хорошо обдумывали... Теперича, ежели бы он шерстью к серому – ну «Волчок»... Или бы толст был – ну «Шарик»... А то, шут его разберет, не то он дохлый, не то он... пес его знает!.. Развел блох – да и горя мало. И разбирай его фамилию... Нечего, нечего! – снова взволновавшись донесшимися с мельницы «э-эх, ма!», прогремел приказчик и потом тихим заботливым голосом принялся исчислять все придуманные им клички. Одна из них была до того уморительна, что, сказав ее шопотом, приказчик покатился со смеху. По крайней мере лет двадцать мне не приходилось ни слышать, ни самому смеяться таким смехом. Я стоял над ним, как под освежительной душой, и думал: «Как бы хорошо было мне теперь это мирозерцание!..»

4

«...Как бы годилось мне это мирозерцание, в виду тех бесконечных «эх-ма», которые постоянно вылезают на свет божий из недр обыденной жизни.

На другой день моего приезда сестра повела меня в класс. Признаться, я высказал было намерение не пойти, ибо пора мне знать науку, которою «все довольны»; но просьба сестры была так убедительна, она так страстно хотела моего одобрения, что я должен был идти. Семен Андреич был с нами.

В классах была образцовая чистота и порядок; доска была только что вытерта мокрой губкой и блестела; на стенах висели картинки из священной истории: «Потоп», «Каин убивает Авеля» и проч. На передней скамейке сидели купеческие дочери в люстриновых платьях, подальше помещались одетые похуже.

– Так лучше, – объяснила мне сестра. – Нехорошо, если кто-нибудь войдет и прямо увидит оборванных... а знают они почти одинаково... Вот посмотри, какие у всех тетрадки... Кузьмина! подите сюда.

С задней лавки вышла деревенская девочка босиком; тетрадка ее оказалась прекрасная; с большим старанием были изображены в ней описания осени, зимы, масленицы.

– Как же это ты, – сказала сестра, – пачкаешь тетрадь? Это не годится... Придет попечительница, посмотрит...

Девочка потупилась и вертела в худеньких пальцах кончик платка, которым была повязана ее голова. Семен Андреич ласково дотронулся пальцем до ее подбородка и, поднимая ее потупленное лицо, говорил:

– А ты не жмурься, отвечай!

Пересмотрели еще несколько тетрадей, и во всех было «хорошо». Потом сестра вызвала несколько девочек к доске, заставила написать несколько строк из стихотворения: «Зима... Крестьянин, торжествуя» – и сделать разбор. Девочки взапуски принялись отыскивать предложения, дополнения, подлежащие; они видимо старались угодить сестре: краснели, комкали мел, тревожно оглядывались, если была ошибка, и громко выкрикивали все хором, порываясь от доски к сестре, если были убеждены, что скажут верно.

– Видишь? – шептала сестра. – Директору очень-очень понравилось.

Показав мне познания девочек, она, наконец, сама стала задавать им урок; и действительно, сестра не жалела груди и сил, толкуя девочкам известное стихотворение «Птичка». Громадных трудов стоило ей разъяснить ученицам стих: «В сиянье голубого дня». Ей нужно было сказать: что такое «голубой», что такое «голубой день». Растолковав это, нужно было объяснить, что, собственно, голубых дней не бывает, что тут необходимо понимать небо, но нельзя также думать, чтобы это было только небо, а что тут примешано и солнце, и свет, и много еще других вещей, которые все вместе состав-

ляют то, что поэт разумел под названием «голубого дня». Откашлявшись, сестра задала это стихотворение списать в чистые тетради, – и урок кончился.

Сестра была утомлена; все, что она считала нужным сказать, она говорила не кое-как.

– Устали? – спросил ее Семен Андреич, когда мы уходили.

– Устала.

– Да, уж признаться сказать, не даром деньги берем! Это уж нечего... Ведь это только не зная кричат: «мало! мало!» А поди-ко, вдолби им в голову-то... жизнь проклянешь! Вы знаете, что я вам скажу? – обратился он ко мне. – У нас какие есть мастера: ты ему твердишь, надседаешься – «подлежащее, подлежащее», а он тебя ж надует в лавке! Н-нет, батюшка, это хорошо разговаривать... Поди-ко, поворочай... Я, ей-богу, удивляюсь Надежде Андреевне, как она еще справляются: ведь почти одне...

– Да, – сказала мать, встретившая нас в сенях и услышавшая конец разговора: – это правда... Ермаков так часто манкирует... постоянно!

– Что! пьяница, прощельга – уж извините, я прямо! – снисходительным пренебрежением проговорил Семен Андреич. – Когда-нибудь дождется, турнут, вот и сказ... Я даже так думаю, не он ли у меня шапку-то... в клубе?

Семен Андреич мигнул.

– Ей-богу! Пожалуй, выпил лишнее, да и... Ему все равно.

– Ну что вы... уж! – заступилась матушка.

– Да я и не говорю, а что может быть... Бог с ним! Свинья – больше ничего... Обидно, что других заставляет работать из-за своего пьянства.

Все эти сочувственные слова сестра принимала молчаливо, и хотя видно было, что она не считает их лестью, однако я заметил, что она ждет моего мнения. Признаюсь, мне было не легко пристать к общему хору хвалений. Но, подумав, я нашел, что если точное исполнение этой программы ведет к тому, что сестре дают комнату и свечку, то, стало быть, не согласиться с этим – значит поставить сестру на ту дорогу, где не будет ни комнат, ни свечей и где, в конце концов, она может услышать: «нет проезда!» Припомнил я также кое-что и из своей жизни по этому вопросу, из своих путешествий по пути несогласий; вспомнил, что и я тоже был учителем и пробовал смотреть на школу и науку как на вещи, объясняющие вообще «человека». Но, кроме того, что мои бока были помяты лишний раз, не думаю, чтобы были какие-нибудь другие результаты для школы и для меня. Пытливые взоры сестры, которая поминутно взглядывала на меня во время обеда, правда, мешали мне хорошенько подумать надо всем этим, но тем не менее, когда, наконец, она задала мне роковой вопрос: «Ну, как ты, Вася?.. Хорошо ли?» – в воображении моем накопилось столько утвердительных доводов, что я должен был сказать: «Хорошо!»

– Только ты, в самом деле, не очень мучай себя... У тебя грудь слаба... – осмелился я пикнуть. Но когда сестра обра-

довалась, то, право, мне кажется, я едва не сгорел от стыда.

Гулял я как-то по улице и натолкнулся на следующую сцену. Около полицейского управления стояла телега; на дне ее лежала человеческая фигура, с ног до головы закрытая полушубком; на тротуаре стояла баба с кнутом в руках и, обращаясь к полушубку, говорила:

– Ма-ашенник этакой!.. Злодей!.. Вот погоди, прощельная душа!

Человек, лежавший под полушубком, не шевелился. Я подошел к бабе и спросил: в чем дело?

– Да вот, батюшка, вора привезла! Пушай его запрут в казамат, шельму этакую, бродягу! Двух лошадей свел, нечистая сила. Хорошо, углядели во-время – догнали, а не угляди мы?.. Этакая паскуда! Все ты увертывался, ну уж теперя покаешься. Уж теперя...

– Авось бог милостив! – вдруг послышался голос из-под полушубка.

– Ах ты, нечистая душа! – гневно возразила баба. – Что же это, всякому вору да... А-ах ты!

– Нич-чево!.. Авось!.. Ты думаешь, бог-то для вас только?.. Нет, очнись! Ты думаешь, вора привезла – и всё тут?.. Нет, погоди маленько! У н-нас тоже против вас штука есть!..

Баба жестоко негодовала. Но тон человека под полушубком сделался от этого в высшей степени самоуверенным.

– Нет, шельма, погоди! – гремело под полушубком. – Так

бы я тебе, шельма, и дался, кабы у меня эфтого не было. Так бы я тебе и лег в телегу-то? – как же, сделай одолжение! Нашла дурака! Кабы эфтой штучки у меня против вас, чертей, не было, нашла бы ты меня... держи!

Эта «штучка» до того заинтересовала меня и бабу, что последняя во все горло потребовала, чтобы он разъяснил эту штучку.

– Кажи, шкура свиная, что у тебя есть? Чем ты можешь нам во вред?.. Кажи!

Человек, лежавший в телеге, вдруг откинул полушубок и проворно сел в телеге, показывая нам почти голую спину.

– А это что, живодерная шельма? – зарычал он, стиснув зубы, и стал тыкать себя в затылок пальцем. – Что это-о?

Мы с бабой увидели, что затылок был у него разбит и волоса запеклись в крови.

– Что? что? что, гн-нусава? – ревел человек, повернувшись к нам лицом и держась обеими руками за край телеги. – Ай присела? Нет, еще за эту штучку-то тебя, шельму, надо расстрелять!.. Аннафему!

Баба злилась, но молчала и видимо оторопела.

– Ты ловить вора – лови, а оглоблей его громыхать в это место – не показано! – продолжал мужик. – Что в законе сказано?.. Шельма! Так бы я вам, чертям, и дался, ежели б вы мне не повредили! Ду-ура! Ведь и мы с умом! Я тебе, дуре, нарочно затылок-то подставил!.. Кобыла-а! Потому нам за это снисхождают! Съешь вот!..

Сказав это, мужик снова юркнул под полушубок, снова закутался с головой и, в то время как баба не знала, что отвечать, весело говорил оттуда:

– Х-ха!.. А то дурака нашли! Нет, брат, эта штучка – мое почтение! Вот как я тебе скажу... Шельма!.. Я тебе покажу мои права!

Я пошел и думал о том, что у меня даже и таких-то прав нет, точно на воздухе висишь.

5

«Время мое проходит большею частью в молчании, а со временем надеюсь и еще лучше освоиться с этим положением. И теперь я уже мало-помалу начинаю напоминать собой богомольца, который зазимовал у доброхотного дателя: пьет, ест, зеваает, крестит рот, спит – и больше ни о чем не заботится. Записывая по вечерам кое-что в записную книжку, я уже сам разыскиваю старую матушкину юбку, чтобы завесить окно, а не дожидаясь, пока матушка сама протянется с нею к окну через мою голову и не объяснит мне, что «как бы кто не увидел – подумают, сочиняешь, обидятся, разозлятся и того наплетут, что всю жизнь не разделаешься!..» Все это я теперь знаю и исполняю сам.

Городишко оказывается самый обыкновенный; грязь, каланча, свинья под забором, мещанин, загоняющий ее поленом и ревуший на нее простуженным голосом: все это, вместе с всклокоченной головой мещанина и его рубахой, распоясанной и терзаемой ветром, составляет картину довольно сильную по впечатлению. Книг в городе можно отыскать много; есть книги даже хорошие, но боюсь их читать; чтение это не приведет к добру; читаю, что попадется: большею частью повести о любви, но и то редко. Большею частью стараюсь думать о вещах, отдаленных от действительности; на стене у меня висит картинка следующего содержания: на бе-

регу громадного озера изображен крошечный человек, сидящий на корточках, в шляпе с широкими полями; в руках у него удочка; вдали колокольня, а внизу подписано: «Предприятие»... Вот я и думаю: где именно тут скрывается предприятие? Предмет, достойный наблюдения и размышления.

По просьбе матушки я отправился недавно в гости к Семену Андреичу; живет «звериным обычаем», но собою доволен, и все у него есть. Я застал у него Ермакова, и если бы не полштоф водки, который уже стоял на столе и был почти осушен, я не знаю, что бы мы трое выдумали для разговора. Но Семен Андреич был под хмельком, а Ермаков совершенно пьян: поэтому мы все о чем-то разговаривали.

– Ведь вот какая скотина! – говорил Семен Андреич: – нарежется и орет!.. Ну что ты этим ораньем хочешь доказать?.. Кроме вреда себе и другим...

– Плевать! – прогремел Ермаков, обнаруживая громадный бас. – Плевать мне на вас на всех!

Ермаков был человек крепчайшего сложения и, повидимому, большая сила из числа тех, которые в трезвом виде не убьют и мухи; но в пьяном виде он был страшен; ему было не более тридцати лет, но лицо уже достаточно распухло и отекло.

– Черти проклятые! – ревел он, сжимая кулаки и косясь на меня.

– Болван ты этакой! Ну, если Иван-то Егоров передаст Фролову, что ты болтал на крестинах у дьякона? – ведь по-

роху от тебя не оставят, дурак!

Ермаков посмотрел на него, вдруг приподнял плечи, сжал кулаки и зубы и прогремел что-то до того ругательное, что даже Семен Андреич не нашелся, что ему возразить; он схватил Ермакова за плечо и, наливая другой рукой водку, кричал:

– Да пей! Пей! Чорт!

Ермаков выпил и облил свою щеку и жилетку.

– Что льешь-то? Эх-ма!.. Пить не умеешь, а орешь.

Из всего оранья Ермакова я мог заключить, что в этом гигантском теле прочно засел неисцелимый недуг протеста, который, благодаря нищенской жизни и под влиянием нищенских интересов окружающего, состарился в нем, прокис, оброс мохом. Миллионы раз «возмущаясь» такими мельчайшими мелочами жизни, как, например, то, что штатный смотритель делает «подлость», не пуская учителей курить в своей комнате, а заставляя их исполнять это на крыльце, и т. д. и т. д., – как не кончить одним ораньем и как не развивать этого оранья дальше и больше?

Оранье и скрежет зубов раздавались ежеминутно, и Семен Андреич поминутно прибегал в таких случаях к водке.

– Да выпей! Выпей! Буйвол!..

– Налей!..

– Так-то лучше! Выпил да закусил – ан оно и... На-ко, закуси!

Ермаков закусывал солью, которую пальцами клал на

язык.

Я познакомился с ним. Он некоторое время молча держал мою руку в своей плотной и горячей руке, смотрел на меня, будто желая что-то сказать, и вдруг принялся ломать мою руку, скрипеть зубами и потащил к пол-штофу.

– Выпей! – едва проговорил он. – Выпей, брат! Я выпил. Жалко мне было Ермакова.

Уходя, я оставил его совершенно пьяным: тяжело поднявшись, он ухватился за лежанку руками, что-то мычал, куда-то хотел идти, чтоб кого-то «избить», но двинуться не мог, а только стоял на одном месте и шатался.

По просьбе Семена Андреича я обещал как-нибудь опять прийти к нему «посидеть». Наверно, со временем я привыкну к этой работе «посидеть» и приду к нему, но до сих пор пока еще не был, ибо сам Семен Андреич посещает нас ежедневно. Часов в шесть вечера непременно слышно из кухни, как он скидает калоши и говорит: «а я, признаться, шел да... где ж это тут гвоздь был? ай вывалился?.. дай, думаю, зайду!» И затем тянутся медленные, неповоротливые разговоры о том, что хорошо бы пробраться в судебные пристава, и проч. Между прочим со слов Семена Андреича я узнал, что уездный предводитель определил происхождение нигилиста «помесью дворовой девки с дьяконом». Сам Семен Андреич понимает их не лучше. «Тут у нас в клубе тоже один появился как-то... пьяная размертвецки шельма! Просит – «подайте!» Я посмотрел, вижу – нигилист! «Нет уж, говорю, вы по-

трудитесь получить вашу субсидию из Польши! Вы оттуда по пятиалтынному в день получаете, ну – и с богом!» Разговоры вообще любопытные... По окончании их я ставлю сапоги под кровать и сплю; засыпать я могу быстро: для этого стоит только как можно ближе пододвинуть лицо к стене и смотреть во все глаза. Нельзя, однако, сказать, чтобы результаты всегда были блестящие: иногда не спишь, несмотря на все усилия. – Тогда зажгу свечу и запишу что-нибудь...

* * *

Вчера вечером разговоры с Семеном Андреичем были прерваны появлением кухарки.

– Барыня-матушка! – тревожно заговорила она, обращаясь к матери: – нет ли у вас какой мази?..

– На что тебе?

– Ох, да тут сейчас старушка одна знакомая прибежала: дочь у нее рождает, мучается! Так плачет, ничего сделать не могут!

В голосе кухарки была сильная тревога, и я высказал желание идти к бабе.

– Вася, и я! – сказала сестра.

– Куда вы в грязь этакую? – попытался урезонить Семен Андреич; но сестра уже одевалась, и скоро мы оба с ней побежали вслед за кухаркой, побежали как на пожар, потому что помочь бабе едва ли мы могли чем-нибудь.

На дворе была тьма и грязь. Нам пришлось спускаться под гору, в слободку, где внизу светились огоньки, шумела вода на плотине и лаяли собаки.

– Так плачет, так плачет, горюшко – бедная! – душевно соболезнуя, слезливо говорила кухарка, спускаясь впереди нас по скользкой тропинке. – Лежит одна, ниоткуда помощи нету, да и где теперь, по этакому времени? И бабки-то не разыщешь! И бабки-то все в разборе!

– А Авдотья Ивановна? – спросила сестра.

– Да и Авдотьи-то Ивановны теперь ты с собаками не сыщешь! Кабы у нас народ-то был умный, а то он дурак! К одному времени все пригоняют... Целый год кушорка-то сидит без хлеба, а как осень – хоть разорваться, так в ту же пору!

– Да почему же осенью?... – спросил я.

– А коли вам угодно знать, так потому, что все по нашим местам ведут счет этому делу с мясоеда, после рождества, либо с масленицы... Потому кругом посты... И считайте теперича девятый месяц... когда придется? И есть, что осенью! Ну и где ж ее теперь, кушорку, сыщешь?..

Из избушки, к которой мы подошли, доносились раздражающие крики; по стеклам маленьких окошек бегала какая-то проворная тень, и слышался равномерный стук.

– Что это? – спросила сестра.

– О-о, черти, о-о, безумные! Коноплю треплют! Да они ее задушат, негодные! – почти проплакала кухарка и ушла в избу.

Мы вошли в сени; маленькая девочка с распущенными жидкими волосами и в распоясанном платьишке пробиралась босиком, с огарком в руках, куда-то в угол. Ее догоняла сторбленная старуха и совершенно растроганным голосом кричала:

– Куда ты, паскуда, тащи-ишь?.. Все огарки пережгла, негодная!

С этими словами она выхватила у нее огарок и шлепнула по затылку, причем на пол упала книга.

– Меня бронют!.. – пропищала девочка, сначала схватившись за затылок, потом за книгу, и поплелась обиженная в избу.

– Да шут и с ученьем-то с твоим! Мать умирает, осветиться нечем, подлая!

Я заглянул в избу. Там слышались стоны и висели облака пыли и кострики. Идти было незачем. Сестра просила меня проводить ее к аптекарю, который постоянно дома и может чем-нибудь помочь. Мы собрались идти, как из избы вышла наша кухарка вместе со старухой, которая прямо повалилась нам в ноги и говорила только «батюшка!» – тогда как кухарка объяснила, в чем дело. У старухи не было тридцати копеек, и она просила их у нас, чтобы побежать к попу и просить его, чтобы отворил в церкви царские врата, так как это облегчает трудность родов.

Мы дали, что могли, и все вместе вышли вон.

Старуха побежала вперед й, карабкаясь на гору, стонала:

– Батюшка! дай тебе господи! Дай тебе царица небесная!
Кухарка, идя позади нас, вторила ей.

Я и кухарка долго дожидали сестру, пока она была в аптеке; наконец она вышла; аптекарь дал кое-какие советы и лекарство. Передав эти советы кухарке, мы все пошли к попу, которого сестра хотела попросить не задержать старуху, и вдруг наткнулись на нее.

– Акулина! Ты?.. – с изумлением воскликнула кухарка.

– Горюшки мои бедные! – плакалась старуха: – потеряла деньги-то, обронила!

– Все, что ли?

– Да вот одна монета выпала. Ищу-ищу – нету ничего!

– Брось! Брось! Беги уж к попу-то!

– Да как бросить?.. Ах, горюшки мои!

– Беги, старая! Ах, боже мой!..

– Ох-ох-ох!

Кое-как сестре и кухарке удалось уговорить старуху, и она побежала к попу.

– Ну теперь ты беги скорей, – сказала сестра кухарке: – носи лекарство да помни, что я сказала...

– Как не помнить, матушка, бегу, бегу! – торопливо говорила кухарка: – и что уж тут искать пяточка? Ах, старуха, старуха!

– Беги, беги...

– Бегу, матушка! – нагибаясь на ходу к земле, говорила кухарка и вдруг стала опять искать в грязи пяточка.

Кое-как и ее уломали.

Признаюсь, не без неприятного чувства в душе подходил я к поповскому дому. Я хотел подождать в сенях, но сестра втащила меня в комнату.

В передней на коленях стояла старуха, а из глубины довольно темной залы слышался звучный голос священника:

– Отдай дьячку ключи да скажи, чтобы поскорее отпер церковь. Я сейчас буду. Беги! – Кухарка выбежала из залы с ключами.

Мы вошли, познакомились; сестра передала просьбу; священник действительно торопился; застегивая полукафтаны, он торопливо говорил другому бывшему в комнате духовному лицу:

– А ты тем временем – того, Гавриил Петрович, подбавь что-нибудь сюда-то! – и он при этом кивал на лежавшую на столе бумагу.

– Я сию секунду... Ступай, матушка, успокойся, – отнесся он к бабе: – Бог даст – все благополучно... Молись поусердней, да не перевери, что доктор-то сказал. Ступай, беги! Да и ты, Гавриил Петрович, того-то...

Священник попросил нас посидеть и ушел...

Гавриил Петрович был дьякон и оказался добрейшим существом; голос у него был мягкий, юношеский и слегка дрожал от какого-то постоянного нервного волнения.

– Вот такие сцены переносить, – начал он, предварительно несколько раз кашлянув: – право, до того неприятно.

Дьякон волновался и ходил по комнате.

– Иной раз, ей-богу, сам заплачешь, глядя, а не то что... Да ничего не сделаешь! – вдруг, словно выйдя из терпения, проговорил он. – Ведь будемте говорить по совести! я не рад этому – у меня дети! Их учить надо, кормить! Да кроме того...

Тут он исчислил множество разных взносов, требующихся ежегодно, и самым обстоятельным образом доказал, что нельзя не брать с народной темноты и невежества.

– Да вот, изволите видеть эту вот вещицу? – продолжал он, взяв со стола бумагу: – это умерла купчиха-с. Супруг желает, чтобы духовенство произнесло надгробные речи, и обещает по три рубля, а уж ежели очень хорошо, то и пять!.. Вот мы с батюшкой желаем получить по два с полтиной, и теперь, представьте себе, сколько мы должны принять на душу греха, чтобы растрогать эти аршинные души до слез!.. Нам нужно эти откормленные туши заставить рыдать-с!.. Ну те-ко, придумайте!.. И тогда только мы можем рассчитывать на получение из лавки фунта чаю подмоченного! Денег нам, разумеется, не дадут, надуют...

Дьякон в ярких красках нарисовал свое безвыходное положение. Пришедший из церкви батюшка прибавил к этому еще несколько других фактов. Он, впрочем, не волновался, как дьякон, а был положительнее, и, раз решившись смотреть на вещи так, а не иначе, шел не оглядываясь.

– Э-э, – говорил он: – тут церемониться, так с сумой пой-

дешь!

Когда речь коснулась проповеди, он прямо объявил, что нужно повести речь о том, что новопреставившаяся была недавно – новобрачная... а теперь... что мы видим?

– Вот! – сказал он дьякону, ткнув пальцем в бумагу: – поверь, быком заревет и как сноп повалится!

Дьякон грустно улыбнулся, однако взял проповедь с собой и обещал составить ее в указанном батюшкою направлении.

Мы пошли вместе. Дьякон всю дорогу жаловался на свою судьбу и рассказал целую систему невозможностей пойти по другой дороге, выбрать иной путь в жизни. Все это только вносило новые лепты в сокровищницу познаний моих о пользе молчания.

Думая так, я шел молча и почти не слышал, что сестра что-то говорит.

– Что ты?.. – спросил я.

– Что она врет? Когда я браню их?

– Кого?

– Да девочка говорит: «меня бранят!» Она ведь у меня учится...

– Учишь, учишь, – шептала она: – бьешься, бьешься...

В голосе ее слышалось желание успокоения, сочувствия. Семен Андреич, сидевший еще у нас в то время, когда мы воротились назад, успокоил ее:

– Вы никак уже в акушерки пустились? Мало вам своего дела?.. Э-эх, некому вас се-ечь!.. Хоть ноги-то перцовкой

разотрите... она оттягивает... Э-эх-ма!..

«На днях опять факт...

Нужно сказать, что сестра, всегда флегматичная и вялая, в последнее время как-то заскучала, нахмурилась и от времени до времени как бы сама с собою разговаривала, перелистывала какую-то книгу и потом бросала ее, говоря: «я не знаю, что мне им диктовать!» Я случайно поглядел эту книгу, это была хрестоматия, обнимавшая все отрасли человеческих знаний, упрощенных до степени двугривенного, более какой-либо суммы автор не рассчитывал отыскать в народном кармане. Все знания поэтому принимали смеющийся оттенок: тут прыгали зайчики, разговаривали мышки, тут было и «Здравствуй, матушка Москва» и «Здравствуй, в белом сарафане, красавица зима!», «Царю небесный» и таблица умножения. Мне пришло в голову, уж не оттого ли сестра стала бросать книгу, что при каждом стихотворном баловстве, попадавшемся там, перед ней мелькал образ умирающей бабы, у которой тащат свечку, чтобы выучить это баловство? Я поглядел на сестру, она хмурилась, но меня не спрашивала ни о чем. Не боялась ли она, что я, молчаливая, постоянно почти лежащая фигура, сочту глупым ее вопрос?

Семен Андреич счастливей меня. Как-то выдался ясный августовский день, мы сидели на крылечке, на дворе.

– Да вы что это так? – спросил он сестру и скорчил хмурое

лицо.

То, что я думал, оказалось справедливым.

– Да вам какое дело? – сказал Семен Андреич, – что вам самим, что ли, сочинять? Слава Богу, и так довольно есть кому!

Чувствуя, что этого мало для того, чтобы сестра повеселела, Семен Андреич прибавил:

– А в уездном-то училище, вы думаете, лучше? Директор приехал, спрашивает: «У вас какая метода?» А дьякон ему: «У нас метода одна – за вихор!» И то ничего! Разбирать! Вам сказано, как надо, – какое же вам еще дело?

Сестра улыбнулась, но молчала и слушала.

– Но все-таки по крайней мере им... – начала она, как бы желая успокоить себя каким-нибудь положительным решением: – все-таки какая же нибудь польза...

– Да господи боже мой!.. Само собой! Да кабы не польза, так ведь кто ж бы? Естественно, что...

В это время, среди лая собак, приблизился к нам отставной солдат в старой шинели и с деревянной ногой.

– Помогите, господа, прохожему солдату! – певучим и добродушным, почти веселым голосом проговорил он. Это был человек небольшого роста, тщедушный, но державший себя бодро.

– Иду на родину из службы, что ты будешь делать? – ничего нет! Помогите, господа, чем-нибудь...

– Ты грамотный? – вдруг почему-то спросила сестра.

– Был, сударыня, и грамотный – да всего теперича лишен... Ничего не осталось, только что караул ежели закричать – ну, это могу! Хе-хе-хе!

Нельзя было не засмеяться.

– Да ей-богу-с! – сказал солдат. – Надо быть, так уж мне на роду написано – не потрафлять: женился – взял жену ловкую, нежную девицу; служил чисто; веселей меня, ежели в работе али в шутке, человека не было...

– Ты чей?

– Здешний, здешнего уезду... Вот тут имение Двуречки... Слух есть, жена моя там... Бог ее знает!

– Ну так что же, как? Ну служил?

– Ну служил-служил, угождал-угождал барину... Бывало, целые ночи с ним куролесили в здешнем городе, по оврагам, все разыскивали веселых делов, да-с!.. Бывало, выпью водки, возьму хорошую закуску, вот эдакую вот дубину, пойду там ворочать – уж достану товару! Даже теперь подумаешь-подумаешь: чем у господа замолю грехи? Ну а в ту пору имел надежду; мечтал так, что будто покоряешься господину, он тебя тоже не оставит. Женат был – только что, господи благослови, – хотел своею частью заняться, иметь уют. И так будто что выходило. Ну а вышло – эво как!..

Солдат шагнул к нам деревянной ногой.

– Отчего ж так-то?..

– Оттого что водка! Вот кто нас губит!.. Ярмонка, изво-лите видеть, была – вот самое это место (солдат показал ру-

кою по направлению к реке). Жена у меня первое время – не знаю, как теперь, бог знает! – жена у меня франтовитая была, признаться, супруга.... Пошли по ярмонке, обижаются на меня: «Неряха!» А уж точно, сами знаете, как одевали нашего брата? Так эти слова на пьяну-то голову (а здорово действительно было) так меня повернули: «Э, думаю, надену господское платье, старое завалыщее, пройдусь разок!» Ишь ведь! Ну сейчас побег; все господам живым манером прибрал, подал... Ж-живо, вот как! рукомойник несу, с пьяных-то глаз, не как люди, а норовлю его на одном пальце пронести. «Разобьешь!» – «Будьте покойны!..» Помои дали вылить, так я их под облака зашвырнул, через пять крыш. Ну подгулял, больше ничего. Таким манером и нарядился в господское... думаю, погоди! Хвать, а барин – вот он! С той минуты: вор-вор-вор-вор! Что хошь! нету мне имени, как вор! Пошло и пошло, от всего отрешен... И добился под красную шапку⁴, – что станешь делать-то?

Тут солдат стал рассказывать о своих трудах в военной службе, упоминал о городах, генералах, черкесе, турке, венгерце и множестве других подробностей, в которых путается внимание слушателей, если он не вникает в смысл путаницы, обыкновенно группирующейся вокруг заключительной фразы: «А все ничего нет!»

– А барышня говорят: «грамотный»! Что мне с грамоты-то? Хошь бы у меня сто пядей во лбу было – тож бы са-

⁴ И добился под красную шапку... – т. е. был сдан в солдаты.

мое не легче: как захотят, так и будет! Я и рану, сударыня, имею, да и то вот побираюсь. Потому что и рану-то нам господь бог не сподобил настоящую получить. Изуродовать – изуродовали, а «к разряду» не подходит! Мне бы во сто раз согласнее было, ежели б мне обе ноги оторвало или бы без руки пошел: – по крайности «первый разряд»! А то только что калека: весь истыкан, как решето, зашили дыры иголкой – и гуляй!

Мы помолчали.

– Ну а ежели, – произнес Семен Андреич, – голову оторвать: тогда что, какая цена?..

Его громкий смех рассмешил и солдата.

– Да уж лучше, ежели бы голову-то. Верно!.. Теперича вот иду в свою сторону, жену искать, а что найду? – Богу известно! Где? как?.. Пожалуй, и так выйдет, что без меня уж и разбаловали бабу!

– Ну-у!

– Ну да уж там что бог даст! Коли что, так попрошу у бабыни – говорят, добрая – местечка, сяду на хозяйство; ну, а коли... так уж.

Солдат тряхнул головой и отступил.

– Та-агда уж не попадайся! Уж что под руку, то и наше! Перед богом!

На крыльцо вышла мать.

– Идите обедать, – сказала она.

– Подайте, господа, солдату!

Ему подали. Он ушел, сопровождаемый собаками и без шапки. Я глядел на сестру и думал: «Однако действительность не церемонится с тобой! Помаленьку да помаленьку она выбивает тебя из колеи, пробитой с большими трудами и надеждами... Что будет – не знаю!»

– Однако они тоже ловки, эти штукари-то, – сказал Семен Андреич, поднимаясь. – Балакает-балакает, а глядишь – как-нибудь и благовестил целковых на пяток... Пойти поглядеть: не стянул ли чего солдат-то!..

Потом мы пошли обедать.

«Осенняя непогода в полном разгаре; уездная нищета еще унылее влачит свои отребья и недуги по грязи и слякоти, вся промоченная до нитки проливными дождями и продрогшая от холодного, беспрерывно ревущего ветра. Не хочется ни выйти, ни взглянуть в окно.

Вечер. Я лежу за перегородкой близ кухни и уже часа два слушаю разговоры Семена Андреича о том, что он намерен перелицевать старое пальто, которое может сойти за новое. Приводятся примеры, когда действительно перелицованные пальто сходили за новые, и т. д. Ветер воет за стеной и царапает ее. Пробовал упираться глазами в стену – не выходит ничего!

В кухню входит человек и, благодаря объяснению кухарки, которая, увидав его, побежала просить у матушки щепотку чаю, оказывается ее дальним родственником.

– Семен Сафроныч! Что это вы в эту пору?.. – удивляется кухарка.

– Ничего не сделаешь, матушка! Моченьки нету! и снизу и сверху – такая страсть идет, не приведи бог! – отряхая армяк, говорит усталым голосом Семен Сафроныч. – Двадцать верст по эдакому мученью обмолотить не больно сладко! – продолжает он, хлопая шапкой не то о притолоку, не то об стену; затем уходит в сени, где долго шаркает сапогами, и

возвращается, отдуваясь и кряхтя.

– О боже мой!

– Пешком, што ли, вы?

– Да, пешком, матушка, пешком, что сделаешь-то?

– Что же это вы лошадку-то жалеете?

– О-о, матушка, кабы жалели!.. Нету ее, лошадки-то, пятый день вытребована по казенной части; нету, матушка. Господь ее знает, когда отпустят оттедова! А приказ был такой, чтобы отнюдь не умедлять, поспешать чтобы в город... Ну и пошли пешком.

– Что ж это вас, по какому делу? – суетясь и раздувая самовар, спрашивала кухарка. – Вытребывают вас, али как?

– Вытребывают, кормилица!.. Сказывали, которые тоже из деревень шли по эфтому, по выписке, сказывали, будто караул хотят держать из нас... Ну, а на постоялом дворе так объяснили, будто бы судить, что ли, кого-то.

– За что ж это судить-то?

– Да господь ее знает! Сказывали, будто бабу, что ли-то, какую присуждают к Сибири за ребенка, ну и приумножают... это самое, караулы. Господь ее знает, матушка! Там без нас разберут... Я уж у тебя, кормилица, заночую? Попытай у господ, не будет ли ихней милости на печку мне? Веришь, пришел в чужую сторону, хоть что хошь! Куда пойдешь-то? Иззяб весь... вымок...

– Вот чайку выпьешь, – сказала кухарка.

Гость поблагодарил и, помявшись, прибавил:

– А ты вот что, родная, – чайку, чайку... а ты бы... Нет ли, голубушка, хошь хлебца бы? Попытай у господ, матушка... Перед богом сказать, и дома-то ребятишкам почесть что корки не оставил – верное слово! стыдно сказать, шли дорогой – побирался, ей-ей! Да покуда чего объявят, так и тут пойдешь по миру ходить, верно тебе говорю!

Гостю дали хлеба и щей. Пока он ел, пока укладывался на печке спать, из запутанных разговоров его я узнал, что человек этот, побиравшийся дорогой и не имеющий угла, где бы приклонить голову, не кто иной, как будущий присяжный заседатель. Под влиянием осени и рева ветра начинает разбирать злость. Закрадывается мысль о том, что действительно ли «дело» – сочувствие к чужим заплатам, и не лучше ли существование Семена Андреича, который вон преспокойно ходит по комнате и повествует о том, что в прошлое воскресенье он не достоял обедни?

– Слышу: «паки, паки преклонше...» Я – марш из церкви, прямо к пирогу, хе-хе! – благовествует он.

Суд, о котором я впервые узнал от кухаркиного гостя, был открыт через несколько дней в первый раз в зале мирового съезда. Публики собралось множество; сзади всех, на каком-то возвышении, помещался Ермаков; он был в шинели, надетой в рукава; лицо его было пьяно и необыкновенно строго. Но внимание мое главным образом приковали присяжные заседатели, почти все оказавшиеся простыми крестьянами. Какой-то длинный и поджарый мещанин, с роб-

кою улыбкой поглядывавший на своих приятелей, сидевших в публике, должен был руководить суждениями гг. присяжных. Взгляды его, бросаемые на товарищей, как бы говорили: «И только история же, ребята, затевается!» На лицах крестьян-присяжных я заметил только уныние и страх. Проходя по комнате, они старались ступать на цыпочках, причем, однако, все-таки оставались лужи таких размеров, что можно было потерять рассудок, особливо если принять в расчет суровые взоры унтера, который как будто хотел сказать: «Эх вы, судьи! вам в свином корыте хрюкать, а не то что касаться к мебели!» Присяжные, видимо, понимали как справедливость суровых взглядов унтера, так и то, что над головами их сию минуту что-то должно разразиться. Упираясь мокрыми бородами в мокрые груди армяков, они стояли перед налоем с опущенными вниз головами, глядя в землю, в то время как отец протоиерей, приготавливаясь приводить их к присяге, держал к ним краткое «увещание». Говорю: «увещание», потому что из уст протопопа выходили такие фразы:

– Постыдитесь! – говорил он, потрясая головой. – Неужели вы думаете, что можно безнаказанно лжесвидетельствовать?.. Да! Правда! Пред лицом человеческого ложное слово иногда укрывается, но пред лицом всевышнего – никогда! Ни во веки веков!.. И ежели мы трепещем казни мира сего, то во сколько крат должны мы трепетать грядущего суда господня? Посему заклинаю вас судить по сущей справедливости, по сущей чести, по сущей правде, не ложно, не... (Тут

председатель кашлянул.) Целуйте крест!

– Позвольте, – перебил председатель. – Господа присяжные заседатели! Отец протоиерей объяснил вам, что ожидает вас за пристрастные суждения в будущей жизни. Теперь, с своей стороны, я обязан вам объяснить, что и в сей жизни существуют возмездия, а именно...

Тут были объяснены размеры возмездия.

– И поэтому прошу вас судить по чистой совести, говорить только правду; помните, господа, что судьи – вы; что от вашего суда зависит участь человека! Не смущаясь ничем, говорите одну правду и больше ничего. Целуйте крест!

По окончании присяги присяжные пошли к своим местам попрежнему с понуренными головами... Когда в зале настала тишина, с их стороны слышались вздохи.

Вывели подсудимую. Это была рябая, некрасивая женщина лет двадцати трех, со старческим желтым лицом и тусклыми серыми глазами. Она была в коротком арестантском полушубке и держала на руках ребенка, почти грудного, который, увидав сбоку себя блестящий штык, потянулся к нему рукой. Солдат хотел сделать сердитое лицо и уже ошетилил усы, но улыбнулся. Бабу обвиняли в том, что она утопила своего незаконного ребенка. На вопрос: «признает ли она себя виновной?» баба отвечала, что «не признает». В тоне ее голоса и манере не было заметно никакой подделки: не было ни принужденной бодрости, ни заученных со слов адвоката ответов; она качала ребенка, вздыхала и, смотря в зем-

лю, покорно слушала показания свидетелей.

– Пошли мы на речку, – рассказывала девушка свидетельница, – пошли на речку прорубь рубить-с... Потому старую прорубь у нас суседние бабы отняли-с...

– Вы говорите только о том, что знаете по делу.

Девушка кашлянула.

– Прорубили прорубь-с, только это я нагнулась – глядь, а там что-то краснеет. Увидала я это и кричу девушкам: «Идите, девушки, на счастье вытащим!..» Стали отдирать ото льду, а там... ребенок мертвый-с! – окончила она совершенно тихо. – Больше ничего-с!

– Больше ничего?

– Ничего-с! Дали знать в часть, нас записали, ребенка взяли в больницу. Больше не знаю-с!

Выступила другая свидетельница: это была пожилая высокого роста мещанка с длинным носом на сухом и желтом лице и большими глазами «навыкат». Рваная шубейка была надета в один рукав. На вопрос, знает ли она подсудимую? – свидетельница отвечала грубым и резким голосом:

– Как не знать-с, ваше высокоблагородие, она мне посейчас два рубли серебром должна. Очень знаем-с!

– Когда она у вас жила?

– Когда рожала-с. Она с солдатом-с бегала в ту пору... Ну солдат был мне знаком, я пустила ее, как добрую... Ну а за мои благодеяния...

– Что вы знаете насчет ребенка?

– Да утопила-с она его, больше ничего-с! Потому она имеет очень вредный характер, ваше сиятельство... Она посейчас не может мне, хошь бы по гривеннику в месяц, двух рублей-с...

Свидетельница была в волнении.

– Почему вы думаете, что именно она его утопила?

– Да потому, что оченно знаем это дело... Живши у меня, постоянно она им недовольна была, убечь ей от ребенка нельзя, а она это любит-с, надо по совести говорить. Она у меня два месяца жила с ним-с, на моих харчах. Я женщина бедная-с; мне взять негде. Теперь вот нешто радость за свои деньги да по судам ходить? а пуцай бы лучше тогда шла, куда знала... (Свидетельницу просят говорить о деле.) Жила, жила она у меня-с, только приходит ко мне одна моя знакомая и говорит: «Нет ли у вас девушки хорошей? – место есть». А она, Маланья, – «Я!» говорит. «Да у тебя ребенок. В благородный дом нешто возможно?» – «Да я, говорит, его отдам куму на воспитание: ко мне кум приехал, я, вишь, его встретила нониче». Знакомая говорит: «Коли так, так торопись, там ждать не будут, за два серебром сейчас другая с охотой пойдет». Ну она сейчас собралась и пошла, и ребенка взяла, а приходит уж поздно ночью, и без полушубка, и уж ребенка с ей нету. «Отдала!» говорит. «Ну, говорю, слава богу!» Я ей всегда добра желала, ну она мне хошь бы... Уходит она утром на место. «Смотри, говорю, Маланья, помни меня, старуху, получишь – отдай!» А она... Слушаю, ваше си-

ательство! Виновата-с! Мы не учены этому разговору. Вот-с и ушла она... а вечером зашел ко мне знакомый фершел-с... «Что это, говорит, вчера я вашу Маланью около речки за часовней встретил и с ребенком и раздевши? По этакой, говорит, погоде она, пожалуй, и ребенка заморозит». А время было непогожее... мело и кура, да и студено. Тут я и подумала... Ан, глядь, пошел слух – нашли мертвого в речке; побежала я, поглядела, а ребенок-то солдатский! Ейный, то есть... Я верно знаю-с, что она руб у господ, как пришла, выпросила, ну она мне – хоть бы...

Ничего более взволнованная свидетельница не показала. В оправдание свое подсудимая объяснила, что она действительно жила у свидетельницы, но что не чаяла – как вырваться от нее.

– В полночь-заполночь – всё пируют! Я лежу больная, хвораю, а круг тебя пляшут, потому что она, ваше благородие, нехорошим делом занималась...

– Это не твое дело судить! – прервала свидетельница, быстро поднявшаяся со стула. – Он, может, тяжелше твоего хлеба-от мой...

Несмотря на звонок председателя, она продолжала громко:

– Я как волк бегаю голодный по своим делам, и то у меня хлеб-то редок! Что дадут мне две копейки на маслицо, так не раздобреешь от этого!

Кое-как свидетельницу усадили на место.

Во время болезни подсудимая не могла работать много, но все-таки ее понукали, и она через силу принуждена была ходить на поденщину. Деньги эти от нее отбирали. Среди таких мучений, услышав, что есть место, подсудимая до того обрадовалась, что солгала, будто бы к ней приехал кум, а на самом деле побежала отыскивать человека, который бы взялся принять ее ребенка на воспитание. Пошатавшись часа два по улицам совершенно напрасно, она хотела было подкинуть ребенка, но пожалела, подумав, что он может замерзнуть, так как в вечернюю пору народу на улице почти не бывает и его могут не увидеть. Наконец ей встретилась старуха, лица которой она припомнить не может. Они разговорились, и старуха предложила взять ребенка с тем, чтобы подсудимая отдала ей полушубок. Подсудимая готова была на все и отдала полушубок; но в это время старуха пожелала узнать, сколько могут дать за полушубок, и побежала к какому-то знакомому оценить его, а подсудимая осталась ждать с ребенком на руках и в одном платье. На дворе была выюга и метель; чтобы укрыться от непогоды, она схоронилась за часовню, и здесь ее встретил фельдшер. Старуха воротилась уж без полушубка, проклиная какого-то человека, который не хотел подождать за ней долга и, оценив полушубок, удержал его у себя. С ругательством старуха взяла ребенка и говорила: «Еще замерзнет – хоронить надо. Где возьму?» Однако взяла и сказала, где живет, но подсудимая у нее не была.

– Почему же вы не были у нее?

– Недосуг, ваше благородие! Да опять и скоро объявился он мертвым.

– Каким же образом ребенок очутился в реке?

– Да надо быть, что замерз он у нее на руках, она его и бросила.

– Не помните ли по крайней мере лица старухи?

– Не упомню, кормилец, в ту пору голова кругом шла. Не упомню! Не чаяла, как мне вылезти из вертепу. А тут пошла на место, спервоначалу непривычно... работы много...

– Коли правду знать хотите, – вновь заговорила суровая мещанка, – ей не то что спервоначалу, а больше ничего, что опять затяжелела, – вот, коли ежели правду говорить-с!

Подсудимая молчала и шушукала на своего ребенка.

Следствие кончилось; настал промежуток для совещания присяжных. Все вышли в коридор. Ермаков, подталкивая приятеля в бок, торопился к выходу и, угрюмо глядя в землю, бормотал: «горькое, брат, горькое, горькое дело... горькое!»

Толкаясь в коридоре в ожидании приговора, я невольно припоминал всю слышанную мною историю о медном гроше, и мне было крайне жаль бабу, особливо когда я припоминал фразу кухаркина гостя – «там разберут». Эти соображения укрепляли во мне неприятные душевные порывы последнего времени.

Мне хотелось уйти куда-нибудь, когда суд вернулся в залу, но я заглянул туда и услышал:

– Не виновна!

Вслед за тем по всему залу разразился оглушительный крик:

– Бра-а-во-о-о-о!

Это горланил Ермаков. Оглянувшись, я увидел, что сторожа уже теребили его за борта шинели.

– Урра-а!.. – гремело по коридору надо всей выходявшей из суда толпой. Кругом был оживленный говор. Тут шли и зрители, и присяжные, и члены суда.

– Признаюсь, – говорил один из них, – нелегкое дело! Очень, очень нелегкое! Я им говорю: «да» или «нет» – больше ничего не нужно, больше ничего! А они: «Бог с ней!» – «Да поймите вы, господа, что тут не бог с ней, не господь с ней, а виновата или нет?» Молчат. «Ну как же?» – «Господь с ней!»

– Ну что уж! – шептал какой-то мужичок. – Тоже помо-
рили ее в казамате. Господь с ней!..

Так кончился суд...

* * *

...Как ни оглушительно было оранье Ермакова, но в эту минуту я совершенно понимал его. Да, под громадою бед, забитости, темноты народа таятся светлые надежды, прячется живое, хорошее слово. Возвращаясь из суда, я не сразу пошел домой. Долго гулял я по городу и за городом – и чув-

ствовал себя хорошо.

Я проходил часа два и усталый вернулся домой. Семен Андреич, проведавший обо всех событиях суда и находившийся у нас, рассуждал о них таким образом:

– Уж не сносить этому чорту головы!.. Ну пом-милуйте!.. Новые суды – и во все горло!.. Ведь это на что же похоже?!

В волнении расставив руки, он прошелся по комнате и прибавил:

– Ну хочешь напиться – ну нажрись дома: никто тебе не мешает! Всему есть мера и граница, а то... реформы... и как стелька!..

8

«...Недель пять прошло с тех пор, как я не брался за мои заметки. Благодаря моей в известном направлении сломанной кости роковое «бог с ней» сделало то, что я, во-первых, потерял нить событий, доказывавших мне необходимость молчания, и перестал урезонивать себя в необходимости этого путем дневника, куда я обыкновенно вносил факты, подходящие к моему собственному положению. Во-вторых, благодаря тому же обстоятельству я весь предался надеждам, что если поразрыть да пораскопать эту забитость, это наружное ошаление народа, то там найдется что-нибудь и почище, нежели «бог с ней»; и, в-третьих, под влиянием разных мечтаний, зашумевших в голове совершенно неожиданно, я нашел, что, несмотря ни на что, ни на какие грядущие беды, я должен толковать с сестрой и разъяснить ей ее положение, объяснить ей все: и огарок сальный в избе, и солдата с деревянной ногой, и почему Ермаков заорал «при реформе»... Помню, что я насаждал сестре слишком много; помню также, что немедленно после того в мою голову полезло такое множество убивающих меня воспоминаний, что мне сделалось жутковато... «Что я наделал?» – думал я... «Да разве можно, – думал я, – говорить о чем-нибудь лучшем, если есть на свете такие положения, как мое, при котором человек молчит самым тенденциозным, так сказать, образом и при

этом находит нужным бояться «рассердить» какого-нибудь Семена Андреича?.. Сама сестра, впрочем, облегчила мою душевную тяготу, оказалось, что скоро сказывается сказка, а дело делается не скоро; выслушав, повидимому, со вниманием мой длиннейший монолог к ней, она молчала и неожиданно спросила: «Так что же мне диктовать?» Я не ждал такого маленького вопроса и успокоился относительно разрушительных последствий моей речи. Но опять забиться в мурью, опять слушать вой ветра, поддакивать Семену Андреичу и молча смотреть на сестру, убеждая себя, что мне делать больше нечего, я уже не мог, я уже был выбит из колеи. Мне хотелось выйти во что бы то ни стало из этого угла и во что бы то ни стало сделать для сестры какое-нибудь небольшое, но практически полезное дело. Я подумал, что если ей заняться шитьем, а не преподаванием народу стихотворений, то это, пожалуй, будет лучше и освободит ее от тех душевных пут, которые накладывает школа, купеческие пироги, страхи пред легионом покровителей и т. д. Чтобы выработать швейную машину, я решился на всякий труд, готов был идти в писаря, в купеческие учителя; но размеры вознаграждения говорили мне, что машину я могу купить лет через десять, через двенадцать. Кой-откуда меня выпроводили без разговоров, и в таких неудачах я было стал уже впадать в уныние, как неожиданно пришлось убедиться, что на свете есть добрые люди. На крестинах у дьякона, того самого, который, отплеываясь, писал проповедь на погребение куп-

чихи, познакомился я с его шурином, подгородным священником. Все они узнали мое желание что-нибудь делать; все увидели, что желание это ущербно им не приносит, и, в качестве людей, которых не особенно гнетет копейка, оказались добрейшими господами. Шурин поговорил барыне-помещице, которая оказалась «из нонешних»; помещица потолковала с шурином, тот опять с дьяконом, потом все они потолковали со мной, разузнали меня, убедились, что я буду только писать и читать с ребятами. Барыня похлопотала, мне сделали вторичное увещание, потребовали уверений, и, наконец, барыня согласилась меня взять, а шурин дьякона обязался, как преподаватель закона божия, «смотреть» за мной. Признаюсь, я крайне был рад этому: теперь машину можно было купить чрез полгода – не больше, теперь я мог что-нибудь делать, хоть учить мальчиков просто читать, и, наконец, сойдясь с простым человеком, узнать его ближе... Уж если, думалось мне, жизнь, несмотря на все пути, все-таки выпирает таких калек, как я; уж если время не церемонится с такими углами тьмы, как тот, в котором живет сестра, то неужели же оно не делает ничего и в самой настоящей тьме?.. Я ведь уже услышал оттуда хорошее слово!..

* * *

В один осенний вечер в квартиру моей матушки заехал двуреченский мельник и объявил, что отец дьякон рекомен-

довал ему подвезти меня в Двуречки, куда мне было нужно и куда, между прочим, отправился хромоногий солдат искать жену. Иван Николаевич был плотный и умный мужик лет под пятьдесят; одет он был по-купчески, в теплый, на лисицах, синий сюртук до полу, и держал себя просто и ласково. Мерин у него был основательный и телега удобная, прочная; тем не менее, по случаю грязи, мы ехали шажком и скоро разговорились; говорили о барыне, которую Иван Николаевич не одобрял за незнание хозяйства, говорили о мужиках, о новых порядках.

– Теперь вот он от суда отбился, – толковал Иван Николаевич: – выпустили его из присяжных... теперь, того и гляди, потянут его к земству... оглянуться не успеет! Еще когда надо бы выборку делать, да у нас всё так – «как-нибудь!» Что посредник скажет, так тому и быть, а мужика только таскают: из деревни в уезд, из уезда в губернию... Да хорошо, коли хлебушко есть, а то... Да вон один барин нашелся, на свой счет повез гласного⁵ в губернию, так тот и то выл!

– Отчего же выть?

– Да оттого выть, что помер было в городе-то... Посиди-ко на постоялом дворе али бы в гостинице без дела... небось! Спал-спал, пошел под ворота посидел, потом опять в номер... Ну-кося? Мужик-то приехал оттедова ровно щепка, худой...

Я упомянул было о том, что мужик, как гласный, мог и

⁵ Гласный – член земского собрания.

должен бы был интересоваться губернским собранием, мог там говорить о своих нуждах.

– Ах вы, господа-господа!.. – сказал Иван Николаич... – «Гов-ворить»! Да нешто он умеет это?.. Чудаки вы, ей-богу... Там нешто по-мужицки надо?.. Да ежели он какое-нибудь слово выворотит, так ведь ему в самое горло звонок-то запустят да там и зазвонят! Да и говорить-то ему не о чем.

– Как?

– А так! У них, у членов-то, ведь всё кругом родня, все они друг дружке либо брат, либо сват... Уж они все дела знают! Один другому «шу-шу» – уж они не продадут! Будем так говорить: остался ты тут недоволен, пошел в губернию – опять же они самые сидят... так аль нет? Стало быть, какой же тут разговор, – изволишь видеть?.. Ну и пойдешь в номер спать...

Разговаривая таким образом, мы, наконец, кое-как доплелись до Двуречек. Ночь была темная, «черная», степная.

– Ко мне ночевать поедем, уж где теперь к попу! – пригласил меня Иван Николаич.

Спустившись с горы, причем мерин выказал большой ум, не допустив хозяина осаживать и натягивать вожжи, мы приехали к небольшому домику в три окна, стоявшему неподалеку от мельницы.

В одном окне светился огонек, несмотря на то, что был час двенадцатый ночи и вся деревня спала мертвым сном.

– Ишь, – сказал Иван Николаич, – жена-то у меня – копые

неизменное, булат! – сидит, ждет!

Тут он слез, отворил скрипучие прочные и высокие ворота и ввел лошадь с телегой во двор; на дворе было тихо и даже казалось теплее: так он был защищен от ветров плотными навесами.

В жарко натопленной кухне, перед комнатой с чистыми полами, лавками и столом, нас встретила жена Ивана Николаича, высокая черноволосая женщина с прекрасными черными глазами. Не показывая виду, что она рада приезду мужа, она сказала ему шутливо-сердитым голосом:

– Н-ну, лысый, куда лезешь!.. Что полы топчешь. Чай, их мыть надо? Раздевайся в кухне...

– Ты меня с такой грубостью не встречай! – ответил Иван Николаич, возвращаясь в кухню. – Потому, знаешь, где я был?

– Шут тебя знает!

– То-то и есть! Я, может, нынешний день все с девушками был-то... с хорошенькими, хочешь – ай нет?.. Ты ведь что такое? – болтал он, скидывая сапоги. – Теперь ты что? – холера! Сибирская язва, вот как в ведомостях пишут, – больше ничего! Захочу – сейчас обротаю, сведу на толкучку, а сам на молоденькой... Хе-хе-хе!..

– Да ты-то что, лысый хрен?.. Ты думаешь, и я дремала? У меня, погляди-кось, какие припасены гусарики! – шутила жена, собираясь подавать самовар, который уже кипел. – Шут ты гороховый!

– Хе-хе-хе! – помирал Иван Николаич. – Уж и огневая баба!.. Хе-хе-хе... Нет, мы ничего, дружно! Деток нам бог с ней не дал, ну... его воля! А что так – ладно! Иван не был?

– Был... а ты рубашку передень! Утром был.

– Принес?

Так они пошутили и поговорили о делах.

Самовар был подан в чистой горнице, из которой была видна еще и другая, также чрезвычайно чистая, с спальным пологом. Несмотря на то, что мебель была топорная и выкрашенная тёмнокрасной масляной краской, чистота в комнате была примерная; на стенах картинки известного содержания, у подоконников бутылки с наливкой. Иван Николаич сидел за чаем в одной рубашке, нанковых панталонах и босиком. В комнате было тепло, да он и так не боялся холоду: послышалось ему, что кто-то стучится в ворота, он встал и, надев только какие-то неуклюжие калоши с соломенной подстилкой, вышел в одной рубахе на двор. «Ветер!» – произнес он, воротясь, и снова уселся за чай. Он пил чаю много и с таким аппетитом и умением возбудить жажду в госте, что и я не отставал от него. Разговоры поэтому были отрывочны и вялы. После чаю дело зашло опять про земство.

– Нет, вот что, ваше благородие! – сказал Иван Николаич, шлепнув широкой ладонью об стол. – Дюже, я тебе скажу, мутит меня самому в это дело, в земство, впереть! Ей-ей! Дюже-дюже, я тебе доложу... Об мире я не опасаюсь: ведро вина – сейчас тебя куда угодно; тут мы и посредственника со

старшиной отставим; а вот как бы подальше чего не вышло... это вот? И боюсь!

– Чего же боитесь-то?

– У-у, боже мой!.. Как не бояться, друг ты мой... Не об разговоре – это что! Это я могу: говаривал на своем веку с архиереями – старостой был! А что, пожалуй... сильны они! Ну а только уж и повредил бы им... Большую бы нанес им ущербу! Изволишь видеть, какое дело... приходит зима, время голодное. Мужик у есть нечего. Посейчас он уж лебедку жует⁶... Следственно, требуется хлеб. Так? Хорошо! Ну теперь гляди, какое положение: посредственник впихнет старшину в гласные – рука ему, вот они и купят хлеб у себя... чуешь? Иван-то Петров, старшина, с коих пор у мужиков же хлеб скупал для барина-то... Видел?.. Посредственник – он тут «чур меня» – в стороне, под видом благочестия... Он говорит: «Как угодно. Я полагал бы так и так, лучше Ивана Петрова нету...» Ну и – получай! Уж цену ва-аз-зымут харо-шую! Уж это верно! Вот в чем обида! Вот тут-то бы я им и не дал! Мы можем хлеб по настоящей цене доставить, мы помним бога, так-то! Мы не позволим себе, чего не надо: нам этого не нужно. Мы век копеечками жили и проживем; рублей не очень много видали, каменных палат нету...

– Чего же вы боитесь?

– Эх, друг ты мой... Уж мы – травленные волки! Как не

⁶ Мужик у есть нечего. Посейчас он уж лебедку жует ... – намек на голод 1867 года.

бояться...

Иван Николаич на минуту задумался и потом, понизив голос, сказал:

– Был я церковным старостой в Рожествене... называемо село Рожествено... Храм древний, причт бедный, ничего не стоит. Помочь нечем... Только что и жили бездождем да градобитием... Тут молебны бывали, а то в год одни крестины да двое похорон – приход слабый! Гляжу я, ан в книгах в церковных эдак вот сказано: «Берутся из сего храма пять тысяч на ассигнации... для, например, победы-одоления французов... ну, по покорении, отдадим...» Я с простоты-то и бултыхни к губернатору: «Так и так... Фракция теперича наша... сами без хлеба... пожалуйста назад, например, деньги...» Да к губернатору. Свету, свету, каков есть свет белый, не взвидел я с этого! Волокут в губернию. «Ты что же это... так и так... а?.. Франция – а?.. Ах ты...» Еле еле уплел!

Иван Николаич сел на свое место.

– Не бояться! – нет, брат, тут скажи слово-то да оглянись! Так-то, друг, как вас? Василий Андреич? Так-то!

Перед сном Иван Николаич долгое время ходил по сеням, по двору – оглядывая, все ли заперто, не влез ли вор; поглядел, накормлена ли собака, и спустил ее с цепи...

Под чуткий лай верной собаки мы заснули покойно.

«На следующий день, взамен всего, что я знал недоброжелательного к бедному человеку, что слышал и вчера и сегодня и слышу каждый день, мне пришлось увидеть народного благодетеля. Это была барыня. Добрые качества ее души бросались в глаза всякому, кто хотя только проходил мимо ее усадьбы. Такой прохожий непременно видел в окнах флигелей для прислуги – людей в красных кумачных рубахах, с жирными лицами, высовывающимися из-за ярко вычищенных самоваров; мог подивиться породистым лошадям, которых плотные и рослые кучера, один за одним, вели к водопою. Кучера обыкновенно были одеты в отличнейшие армяки, в которых не только не было ничего обужено и окорочено, но, напротив, – все «пущено слишком», так что подолы волочились по земле, а рукава, щедро набитые ватой, распирали мощные кучерские руки в разные стороны до того, что жеребцы часто вырывались из их рук или поднимали их вместе с своими мордами высоко над землей; при этом кучера имели на головах блестящие шляпы и выкрикивали «тпру!» такими неистовыми басами, что в тот же день получали от барыни прибавку. Ничего общего с теми людьми, которые норовят купить у мужиков хлеб по грошу и продать им же по рублю, барыня не имела – в этом я убедился во время своего визита. Это была белокурая женщина, лет тридцати

от роду, высокая, худая, необыкновенно доброе существо, жившая в деревне по убеждению, что праздно жить нельзя, что надобно трудиться и делать пользу ближнему. Муж ее, с которым она была не в ладах, жил в Петербурге. Но так как в том кругу, в котором барыня родилась и в котором жила в столицах и за границей, понятия о труде не идут далее умения связать косынку, а понятия о пользе ближнему получают посредством подарка этой косынки бедной чиновнице, получающей пенсию, то все добрые намерения барыни состояли в том, что называется «благотворительностью», со всеми атрибутами, обставляющими ее. В качестве такого рода особы она любила, чтобы ею были довольны и признательны, по возможности, до гроба... «Я не знаю, – сказала она мне: – быть может, я вам мало назначила... за труд? я не знаю». Я сказал, что «много доволен», да и барыня, видимо, знала, что цену она дала хорошую. Потом она постоянно читала французские книги, главным образом по части морали, и находила, что все это очень бы было полезно русским мужикам, у которых нет, например, прекрасного чувства благодарности. Так как это чувство в особенно больших размерах и приятных формах развито у иностранцев, то поэтому она была окружена немцами, которые только и делали, что благодарили ее с утра до ночи и оканчивали каждую почти фразу так: «это только мужик русски – не понимайт свой благодарнись...» Благодарные получали прямую выгоду.

Спустя несколько дней произошло открытие школы. За несколько дней перед этим крестьянским детям было велено собираться в школу, где их будут поить чаем и угощать баранками. Барыни в этот день не было дома, и угощением заведывала одна из немок в большом кисейном чепце, который возбуждал в детях самый веселый смех, сильно сердивший распорядительницу. Поэтому ругательные фразы вроде «свинья», «чушка» я довольно рано услышал из моей комнаты при училище, ибо будущие ученики стали стекаться в школу чуть ли не до петухов. Обещанное угощение началось, однако, не ранее как по окончании обедни. Школа наполнилась множеством ребят, вслед за которыми робкою поступью прокралось и несколько родителей, в глубоком молчании засевших в дальний угол и принимавших все меры к тому, чтобы не рассердить немку, которая раздавала баранки. Робкими глазами смотрели они на распорядительницу, столь же робко, как и дети, утирая рукавами носы.

– Мая-а!.. – запищал один мальчишка на своего соседа мужика, и вслед за тем под столом упал кусок баранки. – Пил-ламил!

Мальчик заплакал.

– Это что такое? – спросила немка, грозно взглянув на мужика и мальчика...

– Мою баланку узял...

– Я ее вам-с хотел!.. – пролепетал мужичок, поднимаясь. – Дюже много... Куды ему съесть?.. У! – сказал он мальчишке: – обрадовался!..

Мальчишке дали другую баранку.

Чай пили охотно и много. Распорядительница только успевала наполнять чашки, пододвигаемые к ней с видом необыкновенного уныния на лице. А между тем посторонние посетители, взрослые, здоровые, прослышав об угощении, прибывали с каждой минутой толпами. Дворовые, как люди более или менее наостренные, с вежливостью раскладывались с немкой и старались заискать в ее расположении.

– Какое биспакойство! Экую ораву напоить! – говорил какой-нибудь из них, подсаживаясь на уголке и перехватывая на лету чашку, которую искала чья-то другая рука.

Слова мальчишек: «мая-а!» замирали в волнах комплиментов, отпускаемых дворовыми немке, в хрустении баранок и кусков сахара и стукотне ног входящих посетителей. Распорядительница сердилась и тыкала чайником куда попало.

– Коммерзум! – возгласил хромой солдат, которого я видал в городе, проворно шагая по комнате своей деревянной ногой.

Это непонятное слово относилось к другому отставному солдату, садовнику, высокая сухая фигура которого выдвигалась между крошечными ребятами за одним из столов. Са-

довник ответил хромому тоже каким-то непонятным словом, и потом они по-приятельски пожали друг, другу руки.

– По-черкесски, сударыня! – сказал хромой солдат немке. – Что будешь делать! Тоже видали на своем веку... И в теплых, сударыня, и в холодных землях побывали, всяких людей повидали!

– Молчи! – сердито буркнула немка, проносясь мимо солдата с чайником.

Солдат, очевидно, был под хмельком.

– Виноват, сударыня! – заговорил он, попятившись. – А что видали на своем веку много! Ну, позвольте вам сказать, такой госпожи, такого ангела не видал, как барыня наша! Да ты поди, всю вселенную изойди, не встренешь! Перед истинным создателем говорю, не найдешь!

Немка опять оборвала солдата. Он сел за стол, но не молчал.

– Ну что она видит заместо своей доброты? – продолжал он, беседуя с садовником. – Она делает обзор хозяйству, намочится по эстих пор... Будем так говорить.

– Само собой! – сказал садовник.

– Следственно, надоть ее уважать али нет?.. Что же мужик?.. Он, неумытое рыло, и под гору и на гору едет на барской лошади, не слезает!.. «Да ты бы, нечесаная ты пакля, хуть бы на гору-то слез. Хушь бы барыню-то пожалел! а ты, такой сякой!» Ну ангел, ангел – не барыня!

Разговорчивость все более и более охватывала солдата на

потеху немцев, которые столпились у дверей с сигарами в зубах и развлекались этим кормлением. Из рассказов и разглагольствований солдата я узнал, что барыня дала ему клочок земли и помогла строиться. Наплыв новых посетителей вытеснял тех, которые успели уже более или менее угоститься чаем, и таким образом, спустя несколько времени, были вытеснены хромой солдат и садовник. Они вежливо поблагодарили распорядительницу, помолились на образ и вышли.

Я пошел вслед за солдатом; мне хотелось потолковать с ним.

– Ну что? – сказал я ему, когда он, простившись с садовником тоже, должно быть, по-черкесски, заковылял было в сторону.

Солдат узнал меня.

– Ах, барин-голубчик! Жену-то? Нашел, как не найти. Э-эх, сударь!.. Верный мне сон снился, когда я сюда шел. Так-то! Барыня вон добрая землицы дала... хочу норку рыть – в караульщиках заслужу... да хушь и не рыть! Ей-богу!

– Отчего же?

– Эх, сударь! меня, друг ты мой, изувечили, видишь как? А бабу мою шибко испортили! Я думал – она мне жена, а она... видишь что! Стал быть, что ж мне? Она и не помнит, какой такой есть муж... Уж она отвыкла от ефтого!

Мы шли по грязной деревенской улице.

– И баба-то какая была, суды-ирь!.. Что веселые мы с ней были, что ловкие – ах!.. Меня забрили, она – и того... с го-

ря да с горя, то с одним, то с другим! Ну и истрепали... Теперь что? – Рвань! больше ничего... Устрелись тепериче – и мне горе, и ей тоже беда. Хочет как жена – да я ей чужой! да любовник тутотко, по ночам постукивает, тоже, стало быть: «выходи, не то убью!» И меня-то боится – потому дочка есть, а чья? – и господь ведает... И дочка-то почесть сумасшедшая, по одиннадцатому году... Кормить ее мне надо – ну, бабе стыдно, и бьет дочку, чтоб мне в угоду... Да и прежде, когда еще только по вольному обращению пошла, и то все была ее... «Как вспомню про тебя... (стал быть, про меня) – так бить ее... проклятую!..» ну а тоже – любит... Так у нас: – только мучение! К вину приучена... хочет-хочет, в хозяйстве ничего не умеет... бьется-бьется – толку нету, и выпьет! Кажется, пошел бы да в речку, ей-богу, право! Ну все будто надеешься... авось господь!..

Солдат шел молча и дышал тяжело.

– Вот где мое гнездо будет, коли бог даст! – сказал солдат, остановившись около одного пустыря, начинавшего застраиваться.

Небольшой лоскуток земли был обнесен низеньким плетнем; в одном углу стоял крошечный сруб величиной с будку, а к нему примазывалась, из простой земли и навоза, другая половина будущего дома. На пустоши валялось два-три бревна да несколько охапок соломы.

Мы стояли за плетнем и не подходили к дому.

– Строюсь кое-как... Что бог даст! Авось и жена... Вон

жена-то – эва она!

Из-за сруба, не обращаясь лицом к нам, вышла сторбленная женщина с лопатой в руках и пошла туда, где должен быть огород. Она была грязно одета, еле плелась, хромая на одну ногу, которая была обвязана грязными тряпками.

– И самое-то жаль! – сказал солдат. – Гулянки-гулянки, а тоже, поди, любовники-то колачивали как! Совсем ровно дурашная стала... Скучит да пьет... Э-эх-ма-а!

Солдат махнул рукой и с горьким вздохом попросил у меня табачку.

Я пригласил солдата к себе, и он сделал то же в свою очередь.

* * *

Расставшись с солдатом, пошел я опять в школу; но там уже заседали кучера; ребят и немки не было. Сидеть в своей пустой каморке, в которой только раздавался стук маятника, было тоже не весело, и я опять пошел к Ивану Николаичу.

– Поедем, барин, в город! – сказал он мне. – К ночи домой. Прокатишься...

Я был рад как-нибудь занять время, и мы поехали.

– За хорошенькими! – сказал Иван Николаич жене, выезжая со двора. – Теперь месяца на два завалюсь!

– Хушь совсем не приезжай! – ответила та с крыльца и долго стояла, провожая нас.

В городе мы заезжали в лавки, ходили довольно долго по базару, где Иван Николаич закупил чай, сахар, свечи и проч.

– Теперича, милый друг, – сказал он, «справив» свои дела, – заверну я к куму, а ты к маменьке поди, проздравь, праздник!.. Вечером заеду.

По случаю воскресного дня у матушки был пирог, и по обыкновению присутствовал Семен Андреич. Он уже плотно закусил и выпил и почему-то сильно волновался.

– Признаюсь, – говорил он матушке: – по мне, как вам угодно, а что ежели на вашем месте, я бы его на порог не пустил. Как угодно!

– Да почему же его не пускать? – возражала сестра.

– Да просто потому, что... что с пьяницей за компания?

– Он не пьяный приходил! – защищала сестра.

– Ну что ж из этого? – как бы в самом деле имея средства опровергнуть сестру, самоуверенно вопрошал Семен Андреич. – Что ж из этого следует, что не пьян? Не пьян, а напьется – вот и пьян, очень ясно! Я только не понимаю одного, как можно... Да вот Василий Андреич, – обратился Семен Андреич ко мне с видимой надеждой получить подкрепление. – Вот вы рассудите... Помните, Надежда Андреевна как-то говорила, что спрашивала она Ермакова о каком-то сочинителе... Бог его знает, какой он там, а в том дело, что Ермаков этот, эта скотина, пьяная харя, лезет сегодня сюда...

– Он принес книгу... Он мне обещал принести, а вы его обругали.

– Этакую скотину следует ругать-с! Следует! Ежели же вам нужна книга, вы скажите мне, и я вам дам. У меня книги есть. Будьте покойны. Если пьяная образина может вам носить книги, то само собой естественно, что и я тоже могу принести. А заводить знакомство с пьяницей... воля ваша!

– Да он не был пьян! Что вы?

– Надя! Надя! поди-ка сюда... мне нужно тебе сказать словечко, – торопливо выходя в другую комнату, сказала матушка, все время смотревшая на Семена Андреича и на сестру с боязнью, плохо прикрытую улыбкой.

Сестра ушла, а Семен Андреич не переставал волноваться.

– Да по мне – как угодно! – говорил он почти грубо.

Я чувял, что в семье начинается какая-то тягостная рознь, и не знал, как дожидаться Ивана Николаича.

«Занятия в школе сначала пошли довольно живо и успешно. Не ограничиваясь азбукой, мы стали толковать о разных предметах и явлениях, относящихся исключительно до нашего села: мы разобрали такие обыкновенные вещи, как волостное правление, кабак, сходка, нищий и т. д. Но с помощью одной родственницы барыни, пожелавшей участвовать в этих беседах, более или менее ясный выводы наши стали загромождаться кисло-сладкими тенденциями, которые преподавательница вычитывала из каких-то переведенных на русский язык немецких книжонок, рассылаемых и раздаваемых с. – петербургскими благотворительными дамами. Все это, выдержавшее, к удивлению, по четырнадцати и более изданий, уверяет народ (за одну только копейку!) в том, что пьяница мужик, послушав один раз хорошую пасторскую проповедь, перестал пить и достиг до такого благополучия, что при конце жизни был сделан старшим лакеем у графа N. В учениках началась апатия и принужденность, которая, вместе с осенними непогодами, растворившими грязь до степени первобытной хляби, сделала то, что число учеников уменьшилось; приходившие из соседних деревень бросили ходить, быть может до поры до времени, а дети жителей нашей деревни стали ходить вяло. Занятия, таким образом, стоят почти на одной азбуке и чтении. Быть может, устанут

барыни; быть может, и азбука сделает какое-нибудь дело. Все это хотя и держит меня на месте, но не особенно веселит. Участь сестры тоже не радует меня, тем более что по случаю распутицы в город проезду нет, и мне совершенно неизвестно, отвлекли ли ее кое-какие книги, которые я дал ей, уезжая в последний раз из города, от бесплодных волнений среди великого русского зла – самодурства, как видно имеющего опутать нашу семью благодаря Семену Андреичу.

Все мои горести несу я обыкновенно к Ивану Николаичу.

Кроме необыкновенного аппетита, с которым пьется чай в его чистых, теплых и уютных комнатах, Иван Николаич весьма приятен как человек, заинтересованный судьбами отечества. Русская история знакома ему не только по лубочным рисункам, продающимся на базарах, не только из книг и книжонок, попадающихся ему при помощи уездного протопопа, но в значительной степени пополнена толками народа, семейными преданиями, перешедшими от прадедов и прабабушек. Как ни темноваты эти сведения, но Иван Николаич умеет по-своему доказать ими свою любимую мысль о том, что Россия – государство богатейшее, если бы за ним «уход». Опоражившая чашку за чашкой, мы ни на минуту не покидаем исторической почвы. Вспоминает Иван Николаич рассказ бабушки о том, например, что однажды императрица Екатерина, желая пресечь мотовство, повелела генералам отрубить шлейфы у двух пышно одетых дам, разгуливавших мимо дворца и оказавшихся женами мелких подьячих. Ге-

нералы отхватили саблями шлейфы по самую спину. Ввиду развивающегося мотовства, примеры и источники которого представляются Иваном Николаичем в подробности и во множестве, нам нельзя не одобрить этой меры... Покуда супруга Ивана Николаича, занимающаяся чаепитием покойно и строго, полощет чашки, вытирает и наполняет вновь, мы успеваем перебраться к 12-му году, к Синопу⁷, Севастополю. Оказывается, что Иван Николаич сам видел раненого севастопольского солдата и собственными ушами слышал от него рассказ о том, что Севастополь погиб «занапрасно» и что ничего бы этого не было, если бы начальство послушалось одного простого солдата, который со слезами умолял «дозволить ему распорядиться»... «Я их всех к обеду прогоню!» – «А оттого, что простой!» – говорит Иван Николаич в крепком огорчении, пихая пустую чашку жене.

Я так много навиделся в жизни трусливых, почти бессознательных людских виляний в убеждениях, что эта прямота Ивана Николаича – какая бы она ни была, эта искренность – делают меня самым внимательным его слушателем. Искренность его очень велика. Среди огорчения о гибели Севастополя ему говорят, что с мельницы пришел мужик. Иван Николаич идет сейчас же, и в голосе его, которым он говорит с мужиком, уже не слышно огорчения... Он знает, «что

⁷ *Синоп* – турецкая крепость на южном берегу Черного моря. Во время Восточной войны 18 ноября 1853 года русская черноморская эскадра под командованием вице-адмирала П. С. Нахимова разгромила турецкий флот под стенами Синопа и овладела крепостью.

к чему», и если не проглядит убытка государственного, то и на мельнице тоже маху не даст...

Досидевшись до позднего вечера, мы расстаемся. Иногда Иван Николаич идет меня провожать до дому. Собаки, хватающие нас на улице, грязь, в которой вязнут наши ноги, наводят нас на разговоры более современные: о земстве, о выборах, ибо Иван Николаич не теряет мысли разрушить намерения посредника и старшины насчет хлеба... Прямота и искренность, кажется, уломают его на это дело, тем более что окружающее сильно помогает им.

Так, однажды поздно вечером, возвращаясь с Иваном Николаичем домой, мы слышали в темноте стоны и как бы какое-то вытье.

В грязи лежала женщина и долгое время не могла ответить на вопросы Ивана Николаича: злейший лихорадочный пароксизм бил и трепал ее.

– Куда ж ты, глупая, поплелась? – укоризненно говорил Иван Николаич, поднимая ее.

Баба говорила что-то, щелкая зубами, что делало почти непонятной ее речь. Но Иван Николаич понял.

– Ах, поганые черти, что выдумывают! ах, проклятые собаки!.. Это наш кузнец-немец выдумывает. Лечить народ взялся! Как начнет лихорадка бить, иди, вишь, к нему, в окно постучись, он тебе запишет, в котором часу трепало! Без этого и лекарства не отпускают... Ах, собаки, прости господи! Пойдем, бабка, помогу!

Иван Николаич помог бабе встать, доплестись до конторы и достучаться немца, который спал. Дорогой он сообщил, что немца выписали в качестве кузнеца, а он оказался не знающим этого дела и предложил себя в качестве медика. По доброте барыня на все согласна, и, уступая вежливому обращению немца, прогнать его не может.

– Сколько у нас этих искусников было – счету нет. Разорят барыню... И всё по часам! Как приехал, сейчас подавай ему часы стенные, да-а... с гирями! И пошел нехорошими словами ругаться, да на часы поглядывать, да в карман себе попихивать...

Поглядишь на такие вещи и невольно скажешь Ивану Николаичу:

– Выбирались бы вы, Иван Николаич, отсюда, да и рассказали бы там все, как есть.

– Ах, брат ты мой! Рассказать!.. Пожалуй, что и расскажешь, а пожалуй, что и язычок прикусишь... Это дело надо ладить «не с бацу»!..

Проговорив что-нибудь подобное, Иван Николаич обыкновенно почему-то задумается и потом, повидимому совершенно ни к чему, приплетет какую-нибудь историю из своих воспоминаний. Вдруг вспомнится ему, что ребенком играет он в отцовском кабаке и с ужасом смотрит на громадного мужика, которого все шопотом называют «палач». Неизвестно почему, палач разъезжал в то время по уезду; но страх был к нему всеобщий. Похаживая во хмелю по кабаку, он по-

хлопывает по полу своим кнутищем и предлагает какому-то пьяненькому мужичонке получить «задаром» два целковых; желающий должен взять бумажки в зубы, подставить палачу спину и вытерпеть три удара кнутом, не крикнув и не выронив деньги изо рта. На глазах Ивана Николаича хмельной мужичонко подставил спину и мертвым повалился с одного удара, стиснув зубы так, что их с трудом разжали двое взрослых детей покойника, чтобы вытащить два рубля.

Иван Николаич не может забыть этой смерти, этого размаха кнутом, со свистом облетевшим всю избу.

– Как же можно с бацу-то! – бормочет он...

* * *

После случайной встречи моей с хромоногим солдатом во время открытия школы он сделался единственным и постоянным моим собеседником по окончании работы.

– Нет, барин, видно придется камушек на шею нацепить да поискать бучила хорошего!..

Так, почти всегда одинаково, слегка раздраженно начинает он свою речь, влезая с своей деревяшкой ко мне в переднюю и одновременно торопясь запереть дверь, снять с лысой головы шапку и обтереть не хромую ногу. – Здравия желаю! все ли в своем здоровье? – произносит он уже по-солдатски, бодро.

– Слава богу!

– Ну слава богу! А я, признаться, ваше благородие, все бу-
чила ищу хорошего... Ей-богу-с! Хочу просить в губернии:
«дозвольте, господа судьи, Филиппу Андрееву, хромоту, не
своею смертью помереть...» Ей-ей!

Этот шуточный тон, когда-то бывший большим природ-
ным сокровищем Филиппа, теперь только привычка, даже и
не скрывающая горя, которое лежит у него на душе. Свер-
нутый с пути господским сюртуком, имевшим когда-то, все-
могущие права, хромым солдат был измучен и изуродован
нравственно и физически до последней возможности; вме-
сто гнезда, которое думал он свить для своей старости, по-
пал в новое море мучений. Помощников у него нет, потому
что жена отвыкла от работы, расслабла от кабачной жизни и
пьет. На шее солдата сидит и женина дочь, девочка больная,
полусумасшедшая, избитая в детстве матерью в припадках
отвращения к пьяной жизни и, кроме девочки и матери, на
той же шее сидит бессрочный солдат Ермолай, пьяница и ду-
шегуб, любовник жены, который отрывает ее от дела, мутит
все в доме и разоряет и от которого ни муж, ни жена отде-
латься не могут: оба боятся его, а жена, кроме того, привык-
ла к нему, жила с ним три года... По природе добрый, Фи-
липп ничего не может поделывать в этом содоме. Иногда даже
сам подгуляет «на свои» с женой и любовником.

– Нет ли рюмочки, ваше благородие, солдату? – продол-
жает он хотя и с оттенком шутки, но уже совершенно болез-
ненно. – Ей-богу! что ни сдумаю, что ни сгадаю – н-на!.. Что

же мне? Драться я не охотник: слава богу, на войне, по приказу, дрался, а самому охоты нету!.. Да и не слажу я с таким верзилой... Гляньте-ко: Еруслан! Звезданет по уху – дух вон! И поджечь избу для него все одно – тьфу! Этакой собаке что угодно можно...

Выпив рюмку, он как будто приободряется и, повидимому желая отплатить за нее, как будто беззаботно говорит:

– Аль у вас печки не топили еще?.. Что же это вы, ваше благородие, не скажете? Да я вам ее раскалю духом-с! Какой холод... как можно?

Печка затапливается среди разговоров совершенно посторонних: о дровах, о дороговизне, о доброте барыни; но когда она, наконец, разгорелась, солдат уселся на полу около нее и уже не свернет никуда с повествования о своей участи.

– ...И по дому-то, ваше благородие, – болезненно лепечет он, – ежели что – и то она с неумелых-то рук до поту бьется! Иная бы вот как обернула, а она мечется, покуда вот этак-то за сердце схватится да на бок... Больная-с, куда ей! Девчонка полоумная, как ворон глазами пучит из-за печки... Опять слабость ейная, бьется-бьется, а Ермолка гакнул: «пойдем!» – идет! выпьет, раскиснет... Моего веку немного осталось... Скоро поколею, все одно! Ну и что хошь! Что и сам с хромой ногой наладишь – все тож прахом! Да и ладить-то не приходится... Целовальнику и посейчас из-за избы-то по шею задолжал... Поглядит, поглядит, да, пожалуй, и отымет избу-то. Прочие соседи рекомендуют: «бей!»... Ах,

господи! Не могу я, старый человек, на это польститься! Она и так чуть ходит, боже мой!

Солдат помешает в печи кочергой, помолчит и снова тянет свою историю.

– Подумаешь, подумаешь, – говорит он в раздумье, – а выходит так, что не минешь, пожалуй, напишешь государю императору письмоце!.. Пожалуй, что не обойдешься! Обидно, обидно в эдаком виде себя представлять, а пожалуй, что придется попроситься, Христа ради, в богадельню!

Но в этих намерениях несчастный солдат, очевидно, не находит успокоения. Собираясь уходить, он снова приходит к мысли, что камень да бучило – хорошие, единственные средства для его спасения.

Солдат ушел. Настала ночь, тишина и темь; степной ревучий ветер, облетая с шумом стены моего жилья, доносит множество самых тревожных звуков, в которых слышен и как бы набат отдаленный и неумолкаемый, и волны, и крик... История солдата, подновляемая новыми событиями, вместе с шумом ветра долго не дает заснуть.

* * *

Скоро к нашему обществу присоединилось новое лицо. Барыня взяла ко мне в служители некоторого человека, по имени Ивана.

Иван был корявый человек небольшого роста с рябым,

некрасивым лицом, большим щучьим ртом и неприятными глазами, из которых на одном сидело громаднейшее бельмо, а в другом мелькало нечто трусливо-наглое и робко-лукавое. Барыня из милости и сострадания взяла его только до весны, так как весной Иван хотел идти в соловецкие монастыри и поступить в монахи: «хощь безделицу для души похлопочу», объяснял он это намерение, стараясь низвести свою хрипоту до степени голоса младенца. Серый глаз, нырявший при этом из угла в угол и, казалось, не знавший, куда деться, и поддельный голос могли привести к заключению, что человек этот питает какие-нибудь нечистые намерения. Но это было не так. Иван просто был пьяница, пьянствовавший сряду тринадцать лет, допившийся до постоянных галлюцинаций, которые не покидали его и в трезвом виде и почти убедили его, что он продал свою душу дьяволу на тридцать лет. Он так привык быть в обществе бесов, что в трезвом виде не знал, о чем разговаривать, и плел в оправдание свое такой вздор, который, судя по глазу, нырявшему из угла в угол, казалось, удивлял его самого. Так, например, объясняя, почему он сидел шесть месяцев в рабочем доме, он обвинял в этом жену и чиновников, у которых та тринадцатый год живет в няньках в губернском городе, к выражал это обвинение так: «Они, ваше благородие, хотели, чтоб я был вором-с... да-с! А я им согласия не дал-с! Потому я никогда матушки царицы небесной не забуду... да-с! Пуцай это им будет известно, свиньям!.. чтоб я был вором-с!» Кроткая хрипо-

та, которою говорились подобные фразы, отнюдь не соответствовала тому реву и безобразничанью, которое Иван обнаруживал в пьяном виде... Судя по этим проявлениям, можно было видеть, что в молодости Иван был великий самодур. Начав свою карьеру маляром, он в короткое время пошел так блистательно, что даже женился на хозяйской дочери. Такой неслыханный успех развил его самодурство до громадных размеров; но в ту же минуту Иван, полагавший себя на высоте своевольтва, получил неожиданный удар: жена не прожила с ним двух месяцев, как ушла к родным, а потом поступила нянькой в хороший купеческий дом. Иван «на зло» стал пьянствовать и безобразничать, полагая этим кому-то насолить; но на жену это не действовало. Она жила в купеческом доме, копила деньги и умела при помощи хозяев сажать Ивана в часть, в рабочий дом всякий раз, когда он являлся требовать к себе ее или денег. Скромная женская практичность повалила эту громаду самодурства: Иван мало-помалу дошел до убеждения, что он в дураках, но вернуться на путь благоразумия снова уже не мог. Пьяница из него вышел совершеннейший. Заручившись копейкой от доброхотного дателя и окурком папиросы, он без зазрения делал всякие гадости на улицах, перед окнами, перед прохожими; ругательства его в это время раздавались на три квартала. Если же заручки не было, то, отыскивая доброхотного дателя, он умел вдруг упасть перед прохожим купцом в грязь, мычать, чавкая ртом, как немой, рвать на груди кожу, драть лохмо-

тъя халата, смотреть в небо выкатившимся бельмом – и сразу поднимался с земли, когда копейка попадала в ладонь. Доброхотный датель обыкновенно не успевал дойти до угла, сделать пяти шагов, как за минуту рыдавший Иван, рассмотрев даяние, оскаливал свой щучий рот и обдавал доброхота на три квартала полновеснейшим ругательством.

Из города, где жила его жена, его выжили, и он шатался кое-где, то задумывая работать, то идти в монахи. Последнее намерение брало верх, ибо нервное расстройство от множества белых горячек достигло высшей степени. По его рассказам, бесы познакомились с ним лет двенадцать тому назад; сначала был «приставлен» к нему один, который начал с того, что уговорил Ивана отхватить ножом собственный палец. Иван это исполнил, и с тех пор за ним ежеминутно шатаются двое и делают с ним, что хотят; так – они примутся его «сбивать с ноги». Кричат: «держи левую ногу! эй, левую ногу держи!» Иван держит и попадает в яму со всякою нечистью. Они водят его целые ночи по разным вертепам, показывая пьяниц, которые лежат в темном подвале, как дрова, заплесневелые и зеленые, и от них несет холодом, от которого у Ивана захватывает дух... Приводят его к морю гущи, из которой торчат головы и вопиют: «Ваня! вот «которое» нам будет за трубочки с табаком да за водочки!» Во время таких путешествий поминутно попадают собаки с человеческими лицами, которые его спрашивают: «где твой ангел?» и начинают ругать, а жену хвалить. Стоит ему заглянуть в

какой-нибудь угол, – и там тотчас же вырастают носы по пяти сажен длины и тоже ругают. Однажды Иван валялся пьяный около корыта, где мок в овсянке овчинный рукав; этот рукав целую ночь ругал его: «камбала!», очевидно, намекая на его кривой глаз. Несколько раз неизвестные люди хотели его украсть, а на место его положить «пса», которого прятали под полой и на голову которого надевали Иванову шапку «для сходства». В ужасе от таких сцен он обращался к богу, бросался в церковь и начинал бить поклоны; но угодники отмахивались от него руками, говоря: «не нужно! не надо! вон пошел!» Лик божией матери чернел и уходил вглубь, а глаза белели. Иван распростирался на земле; но из полу прямо в рот ему лезли трубочки с табаком, и какие-то люди жгли ему пятки, говоря: «поддай ему жару! он мать проклял родную!» Бывали минуты глубочайшего отчаяния; но выручали те же расстроенные нервы: в самом страшном приливе тоски ему вдруг являлось в небе видение – крест и евангелие, или под ногами распростиралось небо со звездами, и Иван восклицал: «Матушка, царица небесная! Никогда я тебя не забуду! Стало быть, поживем еще маленечко!» И начинал ту же историю вновь.

К нам Иван поступил в припадке величайшего уныния и, боясь быть выгнанным, покуда не пил, не переставая, однако же, слышать голоса, проклинавшие его и выходившие откуда-нибудь из графина или с потолка. Иногда неожиданно он совал в щель между половицами папиросу, так как солнеч-

ный луч, ударявший в пол, представлялся ему в виде головы, которая говорила: «нет ли покурить?» Ночью галлюцинации увеличивались до последней степени; стоило погасить свечу, стоило Ивану остаться в темноте, задремать, как тотчас же начинались таинственные явления.

– Прочь! – кричит Иван в темной комнате. – Убью, как собаку! Пес эдакой!

Иван вскакивает и бросается куда-то.

– Иван, Иван! – кричу я. – Куда ты?

Окрик останавливает его.

– Ах ты, господи, боже мой, – кричит он, опускаясь на пол. – А-а-а! Замучили они меня, черти проклятые! Смерть моя! Сейчас хотел бежать за топором, убить его... Как же, помилуйте, которую ночь пристаёт: «Ты душу мне продал. Пойдем!» Ах ты, шельма, сволочь!..

Иван тяжело дышит и долго сидит в большом волнении.

– Действительно, – говорит он, как бы что-то соображая, – одна была торг, торговались. Ну, тогда обман вышел, это я верно знаю, потому что я ему тогда согласия не дал! Верно! Я ему говорю: «Поди к купцу Брускову... (на площади дом-с)... выноси деньги... пятьдесят серебром...» А он в ту пору уперся: «Обругай, говорит, нечистыми словами храмы божий, тогда вынесу!» Ну, а я ему наплевал на это, потому храмов божиих мне ругать неохота. Это я верно – вот как – знаю!.. Еще свою шапку тогда продал, а от него не брал ни гроша медного... Каков есть грош... Ах ты, собака поганая!

Что тут делать? «Продал» – да и шабаш!

– Ты к доктору, Иван, сходи...

– Были-с, ну, пожалуй, что тут докторам-то не ухватить! – шепчет и хрипит Иван со вздохом и, помолчав, прибавляет еще более глубоким шопотом: – тут дело-то помудреней будет-с! Сказать по совести, а ведь я, ваше благородие, шесть недель креста на шее не имел, утерять, вот в чем-с! Так тут доктора не могут-с... Уж ежели шесть недель без креста я прощатался, то уж, сами знаете, все одно – татарин, собачье мясо, некрещеный! Тут не доктор-с, тут к митрополиту надо писать, чтоб по крайности хошь перемазали бы...

Иван долго рассуждал на эту тему и, уходя, говорит предупредительно:

– Вы, ваше благородие, замыкайте дверь... Неравно что со мной... Шут его знает!

Иногда я запираю дверь; но шум и крик Ивана вместе с ветром, который звонит и хлещет, не дают мне покою.

«С появлением Ивана разговоры у печки сделались гораздо продолжительнее, так как к тоскливым жалобам хромого солдата на свою семейную каторгу присоединились жалобы Ивана. И хотя несчастья последнего несколько разнились от несчастий солдата, но они сделались дружными собеседниками, благодаря тому, что Иван, подобно солдату, тоже хотел собраться да «шепнуть государю императору словечка два», и еще благодаря тому, что Ивану, познакомившемуся с делами хромого, была полная возможность излить свою ненависть на собственную жену, которую он ненавидел.

– Я, брат, знаю их, каковы они, жены-то наши! – хрипел Иван, сидя на полу у печки против солдата. – Они ловки нашего брата в землю по самую по шею забивать! Ты у меня спроси-и: что я был и что стал?

– Да уж что!

– Да-а! Знаешь Константинова, Петра?

– Ну?

– Ну первый маляр по губернии? Пять домов?

– Ну?

– Ну я его по щекам бил!

Сказав это, Иван торжественно замолкает, сверкая на нас глазами.

– Я своими ручками бил его по морде! Ученик он мой был,

видишь вот! Поди спроси у него: сколько, мол, раз Иван Лазарев вам голову прошибал? Поди! – что он тебе скажет? А теперь я сам у него копеечки попрошусь! Он – миллионщик, а я... Вот они бабы-то!

Солдат вздыхает.

– У меня тридцать человек рабочих пикнуть не смели! У меня... ах! Ах, бож-же мой! – вдруг обрывая гневную речь, как бы от сильной боли хватаясь за ухо, стонет Иван. – А-ах, как завы-ыл!..

– Кто? кто такой?

– Да кто же?.. Пошел из-за спины, завы-ыл, завыл так, альни под сердце подвернуло! Ах, боже милостивый!

– Да это ветер! что ты? – успокоивал солдат.

– Знаем мы его, какой он ветер! Учены очень! – говорит Иван, мало-помалу освобождаясь от видения. – Они, жены-то, довольно хорошо нас этому обучили, слава богу! Пр-раклятые!

Несмотря на добродушие солдата, несмотря на его полное понимание невозможности поправить что-нибудь в своем положении, открытая вражда Ивана к жене, подкрепляемая аргументами, подобными вышеприведенным, действовала на солдата весьма странным образом.

– Да что ж, ей-богу, – стал поговаривать он, – терпишь, терпишь... Сегодня вот опять вломился: «посылай!»

– Ермолка, что ль? – спрашивал Иван.

– Стало, он!

– По шее его! Больше ничего, одно! Дуй, как собаку!.. – советовал Иван гневно.

– Да что же в самом деле? Мне тоже требуется свой покой, право, ей-богу! «Ты, Ермолай, хушь бы подумал, говорю, ведь и ты тоже, чай, будешь на суде-то?..» – «Посылай!..» – только и слов... И жена: «Пошли, Филиппушка, нам, пропащим!» Уж я посылал, посылал...

– Ловки они нашего брата разорять, собаки... Огреть хорошенько – да и сказ!

– Да что в самом деле! – как-то неопределенно произнесил солдат, обращаясь ко мне и не то жалуясь, не то соглашаясь.

В таких разговорах мы проводили время, ожидая, не улучшает ли нам всем, не перестанет ли непогода, не начнутся ли выборы. Ни того, ни другого, ни третьего покуда не случилось; только история господского сюртука, изображаемая хромым солдатом, выяснялась все более и более, делаясь от этого необыкновенно мучительной. Однажды, в бессонную ночь, поднявшись к окну за табаком, я случайно увидел Ермолая, который прошел под моим окном по грязи, без шапки, с растрепанными по ветру волосами и распоясанный рубахой. Он шел медленно и считал на ладони медные деньги... Вслед за ним проплелась, завернувшись с головой в рваную свиту, сгорбленная и, судя по походке, крайне изможденная жена солдата; она плелась босиком, хромя на одну ногу, обвязанную грязной тряпкой, и, повидимому,

шла, куда глаза глядят. После этой сцены мне было весьма, тяжело слушать негодующие вопросы солдата вроде: «Да что ж в самом деле?», как бы грозившие чем-то этой, замученной женщине. Но благодаря простодушию и доброте солдата, низводившим этот вопрос только до степени глубокого вздоха, никто из нас троих не предполагал, что из этого что-нибудь выйдет.

А между тем это «что-нибудь» вышло, и подзадоривания Иваном солдата разрешились совершенно неожиданно.

* * *

Однажды, занимаясь в школе, я слышал, как хромой солдат вошел в мою комнату, толковал довольно громко о чем-то с Иваном и потом ушел куда-то вместе с ним: в последнее время солдат охотно водил Ивана в кабачок выпить рюмочку, и возвращались они скоро, боясь рассердить барыню; но в этот раз пропали на целый день.

Господский кучер, принесший мне обед вместо Ивана, на расспросы о нем объявил, что он вместе с хромым солдатом погнался куда-то за ворами.

– За какими ворами?

– Да за Ермолкой, за любовником жениным. В прошлую ночь ночевал он у них... Ну и стянул, уместях с Феколкой, деньги солдатские... Руп, что ли то... И ушли вместе с бабой куды-сь... Надо быть, на прощоновские колодези... Сол-

дат-то хватился поутру, ан денег нет, а они с бабой ушли! Ну и погнал вдогонку. Да что, глупый совсем старик! Куды ему отнять? Это его Ванька поджег, он бы сам ни вовек – куда ему! А они, вашскбродие, в кабаке сначала зарядились, солдат-то накатился, боже мой, как! Мужика нанял – во весь дух!.. Барыня им попались – в город ехали, так даже очень удивились этому, что такое со стариком? Ей-богу-с!

Это известие весьма удивило меня.

– И стоит за этакой сволочью гнаться! На его месте я бы сам ей руп дал: иди, любезная, право. Что за такой, за паскудиной таскаться? Известная потаскуха, бродяга... Пирожное еще будет, ваше благородие!

Долго просидел я в этот вечер у Ивана Николаича и когда воротился, то нашел Ивана мертвецки пьяным. Он был весь в грязи и валялся в передней без чувств; рубаха его была изорвана, а лицо и руки покрыты ссадинами и синяками. Мне просто страшно сделалось в компании с ним. Очевидно, что было большое пьянство, большая драка, разыгралось какое-то невероятное буйство, в котором сорвано множество обид и огорчений.

* * *

Ранним утром, чуть свет, я был разбужен торопливым и нетерпеливым стуком в дверь, разбудившим даже Ивана.

– Погодишь, не умрешь! – рыча с похмелья и отворяя крю-

чок у двери, бормотал он.

В передней застучала деревяшка солдата.

– Эко грохаетшь! – хрипел Иван; но солдат ему не отвечал и прямо вошел ко мне.

На нем лица не было.

– Что с тобой?

– В дому не чисто, ваше высокоблагородие! – пролепетал он, вытянувшись в струну и как бы задыхаясь.

– Что такое?

– Очень не чисто, ваше благородие, жена померла!

– Ай померла? – воскликнул Иван в великом испуге.

– Померла! – прошептал солдат. – Ну не очень чисто скончалась... Очень... неаккуратно...

– Да в чем дело? Будет, говори!

Несмотря на испуг и трепет, солдат кое-как объяснил, что вчерашнего числа, после того как они с Иваном «выволокли» жену из прощоновского кабака, солдат привез ее домой, ругая дорогой, говоря ей, что она довела его, старого человека, до того, что он подрался, подрался из-за того, что она обокрала его, нищего, унесла последнее... Жена все молчала. Приехав домой, он взвалил ее на печь и сам лег туда же, предварительно привязав одним концом веревки за дверь, чтобы кто не вошел, а другой конец с пьяных глаз взял с собой на печку, обвязал им женину ногу и крепко держал веревку в руке, чтобы проснуться, когда она побежит. Жениной девчонке, которую тоже ударил несколько раз, он нака-

зал смотреть за мамкой, ежели сам задремлет.

В глухую ночь он слышал пронзительный крик – голос походил на девчонкин, но очнуться не мог, потому что голова «дюже» была тяжела.

– Прочухался под утро, – шептал солдат. – Глянул к полатям... ан она... и веревка эта самая!

– Ах, дело-то не чистое! – хрипел Иван, очнувшись от хмеля. – А-а, братец ты мой!

– Очень не чистое дело!

Все мы помолчали.

– Эх, водочка-а, матушка! – утирая градом полившиеся слезы, говорил солдат: – два раза я от тебя погибель имею, под шапку из-за тебя попал... теперь, может, душу...

– Ах, бедовое дело! – охал Иван. – Девчонка-то что ейная?

– Убегла девчонка!.. Кабы не пьян был, я б окликнул... Она, надо быть, видела, как мать-то... ну и убегла. Как не убечь!

Солдат был крепко убит и почти не разговаривал с Ивановом.

Почему-то мы сочли нужным пойти на место происшествия. В селе уже знали о нем. У дверей изб толпились женщины, закутавшись от дождя свитами. Редкая из них осмелилась подступить к толпе мужчин, обступивших солдатскую избу в глубоком молчании

– Эй! Хромой! – слышалось с солдатского двора, когда мы все трое подходили к нему. – Где ты шатаешься, старый

пес? Иди!

Это кричал Ермолай.

– Нашел время шататься! – продолжал он. – Тоже порядок спросят... Надо ее выволочь отсюда, для господ... для воздуха. Эй, ребята! помоги!

Какой-то старичок, на лице которого выражалось полное убеждение, что это дело мирское и его оставить нельзя, отделился из толпы; вместе с хромым солдатом они вошли в избу. Скоро оттуда вылетела на двор веревка.

* * *

– Пожалуй что утрафишь в хорошее место из-за этого дела! – толковал Иван в ожидании следствия и сам же отвечал на это: – куда угодно! в Сибири – тоже люди, и рад-радехонек!

Но этот ответ не успокоивал его, да и не один Иван, все село было в величайшей тревоге. Собственно страшен был не суд, не начальство, а та какая-то беспредельная тоска, которая сразу навалилась на всех после этого происшествия. Что-то тяжелое висело над головами всех и не давало покою. По ночам можно было заметить огоньки, чего прежде не было, что бывает, когда грозит туча, несчастье. Солдат два дня стоял на карауле при жене и не показывался, ожидая начальства. Иван не посещал его и, испытывая общий душевный ужас, мучился ночью более обыкновенного.

– Что, ваше благородие! – говорил он, тихонько пробираясь ко мне. – Как ни вертись, а надо быть, что промахнул я *им* душу-то!.. По совести оказать, чудится мне, что и в другой раз мы с ним торговались... Тут уж он мне: «Что угодно! Не токмо храмы божий, а хушь, говорит, дрова обругай, соглашусь!» Тут-то, должно быть, я и ахнул... Должно быть, что так! Потому и им не из чего звать попусту... Уж ежели кричат: «пойдем», стало быть, что-нибудь есть! Ничего не сделаешь!.. Коли, бог даст, отверчусь от этого дела, надо писать просьбу. Надо!

Наконец всем полегчало: приехало начальство: судебный следователь, лекарь и фельдшер с ящиком анатомических инструментов. Толпа около солдатской избы собралась громадная; на этот раз даже бабы, поодаль от мужиков, образовали довольно порядочную группу. Посреди двора возвышался шалаш, забросанный соломой, под которым лежала покойница. У ворот плетня стояли без шапок солдат и Ермолай, оба застегнувшись на все уцелевшие пуговицы. Трезвое лицо Ермолая было обыкновенное, форменное, солдатское лицо; только разбойничьи глаза его как будто стали меньше; он как-то хитро поглядывал ими и видимо робел... Хромой солдат был уныл и как будто отошал; тем не менее косицы его были приглажены, а когда подошло начальство, то вместе с Ермолаем он совершенно по-солдатски произнес:

– Здравия желаю, ваше высокоблагородие!

– Здравствуйте, ребята! – сказал следователь, взглянув на

вытянувшегося и бледного солдата. – Староста! Сафрон!

– Староста! Эй! Иди! – гудели в толпе.

– Самоварчик, брат, нельзя ли... а?

– Можно-с!

– Пожалуйста, поскорей... Ступай! Так это твоя жена-то?

– Так точно, ваше высокоблагородие, наша-с! – отвечали

Ермолай и солдат вместе.

– Иван Петрович, – перебил лекарь, – скажите, чтоб и яиц всмятку.

– Эй, Сафрон, Сафрон!

Такой разговор облегчил душу солдата, ибо, очевидно, не приговаривал его к смерти; он поправил деревяшку и кашлянул. Вообще судьи, видимо, не имели намерения чем-нибудь страшить этот народ. Повидимому, такие трагические развязки истории господских сюртуков были для них вещью столь же обыкновенною, как обыкновенны они и в самой действительности. Они уселись на бревнушках и обрубках, достали карандаши, бумагу, велели открыть покойницу, при виде которой толпа шатнулась назад. Лекарь и фельдшер стали готовить место для анатомирования, требовали воду, лавку и проч., а судебный следователь понемногу расспрашивал народ.

– Так распутничала? – спрашивал следователь.

– Было-с... – говорил свидетель.

– Точно, ваше благородие... Весьма по глупости своей...

Большая была неряха!

– Ты что скажешь?

– Больше ничего-с! Непорядочная была-с покойница...

– Ничем не жаловалась?

– Кто ж ее знает? это надо у баб спросить... Эй, бабы, подь сюда!..

Бабы убежали прочь.

– Сердцем, ваше благородие, жаловалась, – произносит хромой солдат: – схватится так-то и упадет...

– Сердцем? Ну еще не можешь ли что-нибудь сообщить?

– Что ж, ваше благородие? – говорил солдат убитым голосом... – Жили дружно-с... Больше ничего... Что уж!

– Ты кто такой?

– Отставной-с... Что ж, дело божие! Ево воля... Моей причины нету; служил царю чисто – двадцать лет отслужил...

– Да ты сядь, старик, – говорит следователь.

– Постоим, ваше высокородие! – просветляясь от ласкового слова, говорит солдат веселее. – Я двадцать лет стоял-с, привык-с. Во дворцах стаивали...

– Во дворцах? – закуривая папироску, переспрашивает следователь.

– Как же-с! В тиатре тоже и во дворцах. Тут стоишь, дыхания своего не слышишь, не шевельнешься... Однаво во дворце задремал, да и уронил ружье, так думал – умру-с!

– Как же можно! – поддакнул Ермолай.

– Как пошло по царским покоям ухатъ-с, от удара... так!..

– Эй, ну-ка поди сюда! – перебивает солдата лекарь: – подними-ка покойницу-то!

– Выволочь ее оттедова прикажете? – вызывается Ермолай.

Покойницу тащат на лавку; солдат помогает нести ее за ногу, Ермолай взял ее подмышки. Проходя мимо следователя и находясь под страхом суда, он желает заслужить у барина и ласково говорит:

– На карауле, вашескбродие, большая строгость! Теперича в Итальянской опере стоишь – ровно железный сделаешься... навзничь прикажете?..

– Клади навзничь.

– Слушаю-с!

– Ты кто такой? – обращается следователь к Ермолаю.

– Бессрочный... Ермолай Семенов.

– Ну ты что?

– Да что ж, ваше высокоблагородие? Что народ-с... Недаром он про нее... Что было, то было! – произносит Ермолай с умышленною ласковостью.

– Распутничала?

– И весьма-с! Что правда, то правда... Утаить нельзя...

Поведение имела вредное...

Ермолай взглядывал на хромого, но тот молчал и стоял навтыжку.

Допрос продолжался, и никого виновного, кроме собственной глупости бабы, в ее самовольной кончине не на-

шлось. Затем покойницу вымерили вдоль и поперек и изобразили все это в аршинах и вершках; развязали тряпки, которыми были обвязаны ее пальцы на руке и на ноге, и узнали, что руку она разбила кирпичом во время поденщины, а ногу зашибла ей скотина во время работы. Слово «работа» стало звучать в устах свидетелей столь же часто, как и «распутство». Все это хотя и не убавляло мнения насчет глупости бабы, но тем не менее было записано, и затем приступлено к анатомированию.

– Десятый час! – говорил доктор фельдшеру.

– Сию минуту, сию минуту! – торопился фельдшер, вытирая тряпкою пилу.

Скоро слух зрителей был в высшей степени неприятно поражен скрипом пилы по черепу безжизненно мотавшейся головы. И вместе с этим звуком вдруг откуда-то раздался пронзительный краткий детский крик.

– Девочка кричит! – зашумел народ. – Догоните, братцы!.. Уйдет!

– Для начальства-а-а-а-а!..

Несколько человек бросились отыскивать девочку, но не нашли.

Крик ее был так краток, что нельзя было с точностью определить места, откуда он раздался.

Скоро следствие кончилось.

– Проворней, ребятки, проворней! – торопливо моя в ушате руки, говорил фельдшер: – собирай мозги-то... да не

руками! Прикинется болеть, дурак!.. Солому возьми в руки, да так с соломой и валя в нутро... Зашьется!.. Все одно – прах!..

Судебный следователь и доктор ушли, не дождавшись фельдшера...

– У твоей жены ожирение сердца, – сказал следователь солдату, уходя: – начальство принимает это в уважение...

– Слушаю, ваше высокоблагородие!

– Я похлопочу, нельзя ли будет предать ее земле по христианскому обряду... Не тужи!

– Что уж тужить, вашокобродие? На христианстве благодарим, а что... все одно! Тут мне жить не место...

– Отчего же?

– Сами знаете, место опоганено... Что ж! Не усидишь...

– В этакой-то погани, вашескбродие! – подбавил Ермолай.

Следователь сказал еще что-то успокоительное и ушел.

– Куда ты, старый хрен, уйдешь? – осторожно подходя к солдату, прохрипел Иван: – много ты с костылем ухватишь?

– Да уж надо! Так ли, сяк ли, а не будет дела на поганом месте...

– Дура-а! – продолжал Иван. – Давай-ко лучше вместе возьмемся... Погляди, как делами зашевелим!

– Опоганено! – сказал солдат.

– Ну, а девчонка?..

– Нешто она моя?.. Пущай родители получают... Я сам калека... Да, пожалуй, и девчонка уважит не хуже матки...

Ну их!..

– Кабы наша была, – сказал Ермолай: – все-таки нельзя оставить... Будет вам балакать-то... Пойдем, хромой!.. Ночку выстояли, росинки во рту не было... Пойдем!..

Все начали понемногу расходиться.

«Покойницу зарыли, перекрестились и замолкли о ней совершенно...

Продолжительные страдания исчезли, таким образом, бесплодно, не оставив ни одной капли вражды к причине их. Не испытав и сотой доли этих страданий, я, признаюсь, не мог вполне ясно и отчетливо представить и понять их глубину; но благодаря кратким и редким разговорам солдата и встречам я видел, что они велики, выше всего, что таится в этих затылках, жаждущих быть разбитыми для собственной пользы, и вообще во всех этих пришибленных существах. Веревка, которую я видел на дворе солдата, говорила мне, что ею прекращена такая нравственная боль, при которой утрачивалась надежда на какое бы то ни было избавление. И от всего этого мне стало как-то жутко... «Неужели, – думалось мне: – даже такие страдания не оставляют ничего кроме молчания, бесследно уходят в землю, только страшат и еще ниже пригибают головы?»

Я считал это ответом на тот вопрос, который задавал себе, едучи в деревню, относительно работы темной мысли над своим положением... Пожалуй, и теперь я не подыщу другого ответа; но одна неожиданная встреча, происшедшая спустя несколько дней после кончины солдатской жены, сделала этот ответ несколько менее безотрадным.

Я расскажу эту встречу.

Мне давно хотелось поглядеть на девочку, оставшуюся после покойной, как на экстракт всей массы страданий во всей этой истории. Я поджидал к себе солдата, чтобы сказать ему об этом: но солдат, находясь под пьяным влиянием Ивана и Ермолая, сам загулял и во хмелю спустил избу целовальнику, укрепившись в намерении идти «куда-то»...

– Вашбродь! – кричал он однажды, выйдя из кабака без шапки, когда я шел к Ивану Николаичу: – пожалуйста рассудить дело! В честную компанию.

В кабаке было много народу, и все почему-то засмеялись, когда мы вошли.

– Ладно, ладно! – говорил солдат всем. – Я своего дела не оставлю... Я это все ворочу!.. Вашбродь! Отвечайте нам: могу я целовальника засудить? Тепериче хочу я судами деньги наживать... дело мое пустое вышло...

– Ну засуди! – сказал целовальник.

– Изволь, – как бы с охотой сказал солдат. – Изволь, други мои... Барин, глядите, так ли будет?..

Тут солдат как-то установил себя с деревяшкой перед стойкой, как перед судьей, и сказал целовальнику:

– Позвольте с вас взыскать сто серебром...

Все покатались со смеху.

– За что?

– А я вам сейчас объясню... Погоди грохотать-то! Прима-ли вы мой дом, а там у меня часы остались... оптические...

Пожалуйте!..

– Это какие оптические?

– Больше ничего – серебряные с двумя доскам... Штучка маловатая, а цена ей – сто целковых. Вынимай деньги! Вышло ай нет? Барин! – обратился солдат к публике и ко мне, выходя из позы истца.

Со смехом ему ответили, что не вышло...

– Ах, в рот те галку!.. Ну постой, я другую.

– Да будет тебе, крупа! – сказал целовальник, стукнув его по затылку. – Пропивай остачу-то да ступай на ярмарку, причитай: «безногому...» Судиться!

– Ну да ладно, – начал было солдат, повидимому намереваясь разыграть новую сцену, однако остановился и сказал: – а что, братец, ведь и так на ярмарку, пожалуй, ударишься? Барин! Пожалуй, что не сходней ли будет этак-то?.. «А-а, безру-укам-му, а-а, биз-зно-гам-му», – пропел он, как поют нищие, громко и отчаянно.

– Вот так-то!.. – одобрил целовальник среди смеха публики. – Как есть нищий!

– Да и так нищий, – подтвердили в толпе. – И зачем избу продал, старый шут?..

– Что ему в избе-то делать, хромоту, – сказал целовальник и прибавил, обращаясь к солдату: – допивай, что ли, остачу-то.

– Уж и велика же остача!.. – слышалось в толпе.

На следующий день, когда мы с Иваном Николаичем со-

бирались ехать в город, на двор вошел солдат и попросился с нами.

– Есть слушок, будто в части девчонка-то, – сказал он. – Все надоть поискать...

По всей вероятности, он уже успел истратить «остачу» от дома, взятого целовальником, был трезв, грустен, жалел об избе и не знал, что с собой делать...

– А пожалуй, что по ярмаркам пойдешь... с девчонкой-то, – говорил он в раздумье дорогой. – Ничего не сделаешь!

Мы приехали в город под вечер и прямо отправились в часть. У разрушенного каменного подъезда ветхого и ободранного здания части мы встретили пожарного солдата, который курил трубку и сквозь зубы бурчал: «нельзя!», относя эти слова к нескольким обывателям, стоявшим близ него.

– Блаженная? – отнесся он к нам. – Здесь! Надо к частному идти...

– Ну будет ломаться-то! – прервал его Иван Николаич: – авось и на пяточок выпьешь!

И дал ему пяточок. Солдат снял кепи и произнес:

– Дай бог ей, очень она нас выручает, блаженная эта. Вот двое суток, как нашли ее: нет-нет – и попадает безделица... А очень любопытствуют видеть...

По приметам блаженная оказалась солдаткиной дочерью. Ее поймали на дороге какие-то мужики и доставили в часть. Рассказывая историю находки, солдат вел нас по темному уз-

кому коридору с ямами в каменном полу и с отвратительным казарменным запахом.

– Она у нас в темной сидит... – объяснил солдат. – Многие обижаются, что, например, блаженная, ну начальство... сами знаете... Вот тут!

Мы очутились перед маленькой запертой дверью, в которой было прорезано небольшое четверугольное окно; солдат снял фуражку, просунул туда голову и шопотом сказал:

– Машуша, здесь ты?..

Ответа не было, только кто-то завозился в темноте. Солдат повторил вопрос.

– Жиды пришли?.. – послышался изможденный и донельзя слабый детский голос.

– Я, я, Филипп пришел!.. – говорил солдат робко.

– А у меня петух есть... – ответил голос и слабо, как самый маленький петушок, пропел: – «кукурику-у!..»

– Тронулась девка-то! – вздохнув, сказал солдат и попросил у пожарного огарочка поглядеть.

– Все больше на жидях, – объяснил пожарный, зажигая огарок: – «жиды, говорит, Христа распяли, а петух запел – он и воскрес...»

– И воскрес! – ответил из тюрьмы больной и ласковый голос. – И матка...

Зажгли свечку, и солдат приотворил нам дверь в темную. Здесь в обществе пьяной бабы, которая спала на лавке спиной к нам, и совершенно трезвого мужика, молча сидевше-

го в уголке и покорно ожидавшего, «что будет», на полу, грязном и мокром, сидела Машутка. Жиденские белые волосы падали, как попало, на голые плечи; худенькими руками крепко сжимала она какую-то грязную тряпку, из которой высовывался конец деревянной ложки. Она была в одной узкой и испачканной грязью рубашке.

– Питушок у мене... – лепетала она, прижимая тряпку к груди и глядя неподвижными, но не в меру оживленными глазами. – Запоет он – все передуетесь, жида... Запой, запой жа-а... Ра-а-диминькай!.. Христос-то воскрес тады... Сю минуточку запоет... Бежите отсюда, жида... Луччи вам убечь...

Девочка продолжала лепетать слова и фразы в таком роде, советуя нам уйти поскорее, потому что петух запоет сию минуту: – мать воскреснет, а мы все задушимся... Мы посмотрели на нее и с тяжелым сердцем пошли вон, не зная, что предпринять.

– Жаль и кинуть! – в раздумье тосковал солдат, когда мы вышли на улицу и остановились потолковать.

Среди такого раздумья к нам подошел полицейский солдат и еще кто-то из толпы.

– А, старина! – сказал Иван Николаич одному какому-то понурому старичку. – Цел еще?

Старичок не ответил, но поклонился Ивану Николаичу и стал около нас молча.

– Вы родитель ей будете? – сказал пожарный солдату.

– Да, пожалуй, что на то найдет...

– Так вы ее долго у нас не держите... Вот что я вам скажу: она блаженная – блаженная, а тоже кормить зря не будут... начальство – нельзя!

Солдат задумался.

– Ну, – сказал Иван Николаич: – думайте! Думай, старик, а то вышвырнут, хуже будет... Жаль ведь... Надумаете – идите к Миронову в лабаз, оттуда вместе тронемся.

Мы с солдатом стали думать. Понурый старичок стоял около нас и слушал. Солдат не мог придумать ничего лучше того, что рекомендовал ему целовальник: он хотел как-нибудь перезимовать зиму, а с весны положить блаженную в тележку и тронуться с нею по ярмаркам. Никакого другого, более практического плана для них обоих нельзя было придумать.

– Ничего не поделаешь, – порешив, заключил было солдат.

Но в это время понурый старичок не спеша тронулся с своего места и, поровнявшись с солдатом, глядя в землю, буркнул:

– Вот чего... Бросить это надо... Не приходится младенцев божиих по толкучкам таскать... Не подходит это, так-то-ся!

Руки старик держал назад и, говоря это медленно и с расстановкой, слегка подергивал плечом в одну сторону и не поднимал головы.

– Кормиться надо, старина!.. Душа просит прокорму, – сказал солдат.

– Корму хватит... От господа корм-то идет... А ежели ты имеешь веру, отдай блаженную нам... Прокорм будет! Не место толковать-то... в номерок хушь...

Не дожидаясь ответа, старичок попрежнему медленной походкой пошел в сторону, направляясь, повидимому, к харчевне. Солдат охотно поплелся за ним, обрадованный неожиданным прокормом, и я не мог отстать от них, в первый раз услышав сочувствие к невинным страдальцам, считаемым «блаженными», которых бросать не приходится.

Все трое мы вошли в грязную харчевню с заднего крыльца. В узеньком и низком коридоре, обклеенном какими-то канцелярскими бумагами, с маленькими дверьми в душевые и грязные «особенные комнаты», стоял, разговаривая с половым, молодой красивый парень в отличнейшем полушубке, с гармонией в руках. Он, видимо, подгулял, был весел и не замечал, что картуз его сидел на затылке козырьком набок. При появлении старичка он сунул гармонию половому, сдернул шапку и, сделав постную физиономию, тоном сидельца заговорил, обращаясь к старику:

– Изготовлено все-с! Пятнадцать пудов муки пшеничной, два ведра вина-с, масла...

Старичок взглянул на него и молча прошел в номерок. Малый как будто трусил, оглянулся на смеющееся лицо полового и скромно уселся в уголке номера. Мы трое размести-

лись по бокам небольшого стола. Старик не претендовал на мое присутствие. Он долго копошился, усаживаясь, побрякивал, пожевывал губами, поднимал и опускал седые брови и вообще серьезностью лица доказывал, что в голове у него есть нечто весьма важное, по крайней мере для него, хотя в глазах его, тусклых и маленьких, приметна была некоторая тупость. Мы все молчали и ждали, что будет. Солдат, видимо, был отчасти изумлен тем, что об угощении не было и помину, хотя дело очевидно происходило в харчевне...

– Вот чего, служба, – заговорил старец, прекратив свои таинственные прелюдии: – отдай ты девочку нам...

– Кто вы будете?..

– Здешние, подгородные, прощоновские жители... И скажу я тебе, что девицу эту ты отдай нам, по тому случаю, что нам мученики требуются... Они наши пред господом заступники, а мы, прощоновские, главное о небесном благополучии имеем попечение, а в земное веры у нас нету!..

– Не стоит того дело! – подвернув ловко обутую ногу под лавку, подтвердил молодой малый, сплюнул и потрянул волосами.

Но старик ничем, даже взглядом, не одобрил этой сочувственной фразы молодца, а продолжал:

– Требуются нам предстатели и защитники на небеси по тому случаю, что на земли у нас их нету... Верно я говорю?

Нельзя было хоть отчасти не согласиться с этим взглядом старца, припомнив, что на земле бывают случаи, когда пред-

стательствуют затылки.

– Что такое твоя девочка? Умудрил ли тебя господь понимать это дело? Дитё божие, ангел непорочный, мученица невинная... Следственно, ежели мы у господа награду ищем, то отнюдь не можем оставлять ее зря... Отдай ты нам ее в обитель, ибо имеем мы обитель собственную, и угодник наш, новоявленный мученик Мирон, при нас тоже состоит...

Старик перекрестился; молодой малый, заслушавшийся было гармонии, вскочил и сделал то же.

– От него, Мирона мученика, получили мы в эфтом понятие, его слушаем и веруем. Отчего мы, простые христиане, всю жизнь муку видим, отчего между нами ссоры и драки, буйства и зависть? По тому случаю, что мы во грехе, на уме у нас мирское – как бы лучше, как бы сытнее, как бы больше... «Кого мы боимся? Боимся начальства, суда человеческого, а того не видим, что и он тоже во грехе и в блуде, и сам тоже норовит для мамоны... а не что-либо... На него ли положим надежду?» Его это слова! И было тогда нам сказано: «Бросьте все, припадите к богу: на земле, как мухи паскудные, перегибнете, а на небе награда будет». Оно так и выходит... Вот ты хром и нищ, – сказал старичок солдату, – на земное или на небесное ты надежду имел?

– Грешен! – сказал солдат: – собственно что для прокорму...

– Как же вы... – ласково и как бы укоризненно попытался произнести молодой малый, но старец продолжал:

– Так оно и выходит! Послушай тепериче, что я тебе скажу... Неспроста мученик Мирон этак-то говаривал. От юности своей имел он большое понятие и к нашему мужицкому мирскому делу не подходил. «Господи! – возопил он единожды перед миром, когда его силком на тягло посадили. – Не могу я в браке быть... Дозволь служить тебе, но не дьяволу». И в ту же ночь господь супругу его прибрал... С этих пор мученик покинул мир и ушел в пустыню и пятнадцать лет лежал в шалаше на одном месте. Вбил он себе колья под кожу, по семи вершков длины, и так стало, что обросли те колья кожею, а ино место стали раны и язвы. Завелись в этих язвах черви, и ежели случится какой червь упадет оттуда, вывалится, то угодник его вторительно в язву кладет... И немало мы дивились, грешные, на этакое мученика. Видим мы: не имеет он грехов, ни блуда, ни пьянства, не жаден; за одно за это стали мы его почитать, потому все те грехи мы оставить не можем... Видим мы, что и мучения и роптания наши тоже ничего супротив его не составляют: нам голодно, – а он голодней нас во сто раз; нам холодно, – а он голый под рогожей лежит!.. И стали мы ходить к нему. «Помолись о нас грешных... дай совет...» И тут говорит он на наши глупые мужицкие жалобы: «Век вы свой покою не сыщете, ежели вокруг себя искать будете... Не о земле, но о душе подумайте! Ты, говорит, бежишь жаловаться в волость на мужа, а ты на жену; наказывают вас и умирляют, а лучше вам от этого не будет! А по-моему так: замешалось промежду вас земное,

брось, уйди от него; позабудь земную обиду и защиту, а припади к богу, у него ищи...» Не видали мы на земле проку и ходили к нему. И носили ему от трудов своих: кто грошик, кто сколько, кто и так. Пятнадцать годов учил он нас, и бывало так, что уйдет жена от мужнего греха или сын от отцовской неправды, уйдут в пустыню... Ну слаба была вера, ворочались обратно из пустыни... на лютую жизнь. Видел это мученик и говорил: «Всех я вас спасу, ежели уверуете в слова мои...» На шестнадцатом году, в весну, полднями слышен был звон в небеси... «Отхожу!» сказал мученик. Вынул он в ту пору из-под кожи колья кровавые и роздал нам их... И взял сам один колышек, вбил его подле себя в землю и сказал: «Будет здесь колокол (стало быть, монастырь), ну не в скором времени, а сначала будет дом общий». И помер, ровно дитё, тихо. Тут и вышло, как он нас спас: все-то грошики, все копеечки – все в ямку зарыты, и набралось тех грошиков пятьсот рублей... Помня заповедь, стали строить дом. Теперь он готов, в два этажа, на две половины, мужскую и женскую. Стал к нам бежать народ, стали молиться о душе своей, и живем под богом... Работаем вместе, вместе кормимся... И тебя прокормим, да и о душе своей вспомнишь. Так-то! Вот мои слова.

– Ох, надо! – сказал солдат со вздохом.

– То-то надо! А девочку мы сохраним в покое, в угождении – потому надо нам веру поднять; вот что: стечение большое, надоть строить другую храмину, а без веры толку не

будет... да опять и то сказать, случается и грех в обители... И молитва слаба... Да! Сразу нельзя... И угодник, по повелению его, перенесен нами в обитель по осени, нониче для того ж. Сам он, батюшка, в видении объявил: «Скоро надеть мне прийти к вам, укоренить веру... Пущай на кости и язвы мои поглядят и укоренятся в молитве... не даром я мучился». В ночное время его мы, друг любезный, приняли из могилы в нетлении; благоухание от него, друг ты мой, большое, надо говорить прямо; но открывать – не открываем: пусть придет синод, откроет с честью; такое дело без синоду делать нельзя, ждем ответу, а бумага давно послана!.. Так-то, служба... Тебя мы прокормим, а девочка блаженненькая – пример для нас, глупых... «Вот как, мол, мучаются, ежели у господа желают получить...» Ибо, говорю тебе, не имеем веры в земное, но молитвою желаем заслужить на небеси...

– Да по мне что же? – говорил солдат. – Хоть бы как пробиться...

– Лучше нашего места не будет! – тряхнув кудрями, произнес малый. – Поверьте!

Рассказ и философия старика показались мне несколько странными: я никак не мог примирить толков его о неусыпной молитве с веселым и румяным лицом молодого малого, который, очевидно, тоже принадлежал к обители. Мне хотелось потолковать с ним.

– Вы тоже в обители? – спросил я у него, когда солдат и понурый мужичок вышли из номера, ибо солдат потребовал

«по грехам» магарыча.

– Как же-с, слава богу, второй год... Живем – лучше не надо... ну молитва, по совести сказать, слаба...

– Слаба?

– Дюже слаба. И очень плоховатое моление!

– Почему же?

– Да извольте видеть, как вам сказать... Первое дело, по книжной части слабы, путаемся кое-как. Ну а другое опять... Я вам про себя скажу. Убег я к ним от отчима... Бедность и мучение от него – страсть! Убег я, думаю: «отдам душу богу!..» И другой этак-то, и третий, и женский пол... Собрались мы так-то, да как взялись работать не на себя, а на обитель, – ан у нас страсть что всего: пищу имеем хорошую, всего много; что в дому нуждался, в обители все есть – на!.. И блуд-с! – прошептал малый, прищуриваясь: – верно-с! Младенцы даже появились... Ничего не сделаешь!.. Молитва-то поослабела... Иван Федосеич, старичок-то, они главные у нас, серчают! «Вы, говорит, все больше о мамоне...» И то совести сказать, придешь с работы, поужинаешь, прямо на печь... Ну и грех! И бабы-с! Которая от мужа ушла, сейчас она уж... а не то, чтобы мучению себя предать... Ну Иван Федосеич и серчают... «Надо веру поднять... Слаба молитва». Чудаки они! – робко улыбнулся малый. – А что житье – лучше не надо!

– Зачем же вы вырыли Мирона?

– По той причине-с, что мирское нас очень обуяло-с...

Стали душу забывать, – Иван Федосеич объясняют... Оно и точно, грех... Вот и вырыли, чтобы к богу оборотить... Вот извольте поглядеть, каков полушубок?

Полушубок был отличный, романовский.

– Обительский... Сапоги тепериче, шапка – всё обительские... Ежели б своей силой, ни во век не сбился бы завести, а тут у всех... Потому что выработаем, всё несем на всех. Полушубки-то завели, а душу-то позапамятовали! Вот и вырыли-с... А то на Илью один наш обительский подгулял, высунул голову в окно, да и кричит народу: «наш-то бог лучше вашего... вот – что!» ну, а ведь это не ладно... потому зависть... Которые нашей вере не передались, страсть как завидуют. Так-то...

На расспросы мой молодой малый с удовольствием сообщил, что, положив посвятить жизнь делу небесному, они тем не менее кое-что уделяют и земному, то есть исправно взносят что следует, и начальство покуда их не трогает, тем более – что многие из деревенских начальников сами «передались» в их веру и отдали на построение обители свое имущество. Приходский батюшка не раз грозил им Сибирью, но покуда что, а не слышать, «и не будет этого, – сказал малый уверенно, – потому что бумага послана прямо к митрополиту». К бумаге приложен акафист и житие Мирона, написанные дьячком и волостным писарем, «то есть ах как!» Писарь бросил жену, мещанку нехорошего поведения, и уже передался им; а дьячок все ходит к ним, попивает меды и брагу,

жалуется на свою участь и поговаривает: «аль и мне передаться в измену?» Вообще оказывалось, что спасение души покуда ничем не стесняется; что житье, слава богу, сытное; что недостает только настоящей веры да иноческого сану и всего «чину». Всего любопытнее было мне видеть, как сытное житье и спасение души, хорошие полушубки и загробные улады, путаясь в воображении малого, невольно выдавали его симпатии, склонявшиеся, главным образом, к полушубкам, к довольству и сытному житью... Во всей этой истории мне было весело видеть, что неудобства будничной жизни хотя смутно, но ценятся, и хотя темными путями, через гроба, загробную жизнь, самоумерщвление и самоистязание, все-таки выводят по временам к тому, что действительно нужно народу и без чего он раб и нищий.

– Барин! – прервал мои размышления молодой малый. – А что я вам скажу...

Он подсел ко мне и шопотом, почти над самым ухом, проговорил:

– А ну-ко, ваше благородие, да обман все это?

– Что такое обман?

– Да это, Мирон-то? Третью неделю мы его в обители держим, а ведь, по совести сказать, благоухания нету!

Я с изумлением смотрел на его как бы оробевшее лицо.

– Что вы скажете? Покуда из синоду бумаги не будет, открывать его не посмеем, а что попробовала у нас одна бабочка секретом туда заглянуть, говорит: «одна земля, все обман!»

не верьте!..» Вот что поговаривают-то! Как бы, пожалуй, наше дело не вышло дрянь!..

Малый весьма озабоченно тряхнул головой.

– Как дрянь? – сказал я. – Да ведь вам хорошо жить? Ты сам говоришь, что никто из вас так хорошо не жил дома, как здесь?

– Разговору нету об этом!

– Так, стало быть, стоит попрежнему только работать дружно!

– Тогда-то? – перебил меня малый. – Нет, не будет! Разбежимся все... Н-нет, барин! За угодником шли; за ним покой имели... Полагали, как предстателе... да вдруг обман? Стало быть... что же?.. Коль велик мой грех? Правда-то, стало быть, не наша! – вот что я скажу!.. Да лучше я как собака. Да я тады сам передамся начальству... У-уй-ду-у!.. То есть убегу, повинюсь. «Как угодно... без пощады!..» У-уй-ду-у!

В недоумении слушал я эти слова молодого парня. – Довольно долго говорил он о душе, о пшеничной муке, о язвах, видениях, предсказаниях, добрых обительских девках; но все это не уничтожило во мне ощущения, похожего на ощущение от удара обухом. Под влиянием этого ощущения я не помню, как подошли старик и солдат, что они тут еще толковали. Было во всем что-то такое, что действовало на душу весьма утомительно. Я посидел немного, потом простился с компанией и, получив от малого приглашение «побывать в обители», с уверением, что «угощение выставим на-

стоящее», ушел.

Был девятый час вечера и темно; движение на улицах совершенно почти прекратилось, только лаяли собаки, охраняя наглухо запертую и мертвую тоску, да звонкими голосами визжали песню две мещанки, идя вдоль улицы и, повидимому, тщетно разыскивая хотя самого ничтожного развлечения. Нужно было торопиться к Ивану Николаичу. Но я еще забежал к матери и сестре – узнать о них что-нибудь.

Войдя в кухню матушкиной квартиры, я услышал чей-то басистый раскатистый, как у дьяконов, голос. Это был Ермаков. Он был трезв, кроток и даже стыдлив, чему много способствовал его костюм, который хотя и был приведен в возможный порядок, но решительно не мог поддержать благоприличия, овладевшего хозяином. Матушка и сестра, напротив того, казалось, утратили значительную долю сдержанности и наружного спокойствия, сделавшихся для них крайнею необходимостью. Матушка как-то похудела, и черный чепец ее как будто увеличился в размерах.

– Ах, Вася, Вася!.. – заговорила она, качая этим чепцом. – Что ты нам наделал, голубчик мой!.. Ах, Вася!

Руки ее выронили чулок на худые колени, и голова упала на грудь, как бы от долгой усталости.

– И зачем только ты про какого-то сочинителя с Семеном Андреичем поспорил! Ах, боже мой! Пойдем мы все по миру... все с сумой. Ах, голубчик ты мой!..

Мысль о неизбежности пойти по миру, должно быть, дол-

го угнетала матушку и была обсуждена ею крепко и основательно, потому что, высказав ее мне прямо и без обиняков, она крепко вздохнула. Это немного облегчило ее; она могла изложить тайну гибели от «какого-то сочинителя» более покойно и последовательно,

– Не сердись ты на меня, Христа ради... вся я издрожалась, измучилась, истряслась за это время... Не могу я умолчать об этом. Господи боже мой!.. Как же, что делается!.. Помнишь, ты заспорил с Семеном Андреичем?..

– Помню, помню...

– Н-ну, ты сказал против него... И Гаврило Петрович тоже против него сказал, что, мол, твоя правда, что не тот сочинитель... Как его?

– Будет об нем! – произнесла сестра, по-видимому, с большим нетерпением и, закутавшись в платок, прошептала: – уйду... в монастырь! Говорите, мамаша!

– Ну, голубчик... И книгу достали, тоже Гаврило Петрович Наденьке ее принес... Стало быть, послушания мы ему не оказали... Видишь, что вышло? А ты знаешь, какой он? Сколько раз я тебе говорила: боже тебя избави заикнуться! боже тебя сохрани!.. А ты... Ах, Вася, Вася!

К горестным речам матушки присоединились речи Ермакова и сестры. Все они, тоже достаточно потерпевшие в этой истории «о вреде непослушания», множеством фактов старались разъяснить мне, в чем именно заключается этот вред и почему... Я узнал, что сестра принялась было читать остав-

ленные ей мною книги и очень хотела спросить у меня кой о чем, весьма ее интересовавшем, но с этой историей бросила все: «не до книг... рвут, как собаку!» – говорила она. Узнал я, что Ермаков совсем было бросил шататься по кабакам, обрадовавшись, что нашел угол, где на него смотрят по-человечески, стал являться каждый вечер к нам, читать сестре книги вслух, так как у Надежды Андреевны грудь слабая, а он, Ермаков, рад-радехонек хоть что-нибудь сделать кому-нибудь. Узнал я, что даже и штатный смотритель уже намерен был ходатайствовать у директора о допущении в преподавание более разумных учебников, нежели те, которые существовали, и о дозволении заменить в уездном училище предметы, не подходящие к положению простых классов, как, например, рисование, история Римской империи и проч., изучением на практике башмачного и сапожного мастерства и т. д. Узнал я множество самых хороших намерений, начинавших говорить о том, что где-то что-то просыпается, и видел, что все это было внезапно поправлено каким-то Семеном Андреичем, который умеет «купить дешево», любит тех, кто его уважает, – человеком, которого все любят единственно за это уменье и ловкость в покупках. Авторитет, оскорбленный неожиданною встречей на своем славном пути чего-то, совершенно к дешевой покупке не относящегося, забушевал, и громадный поток самодурного «ндрава» хлынул, как лава из огнедышащей горы, и потопил все без остатка... Потопил матушку, потому что она держит у се-

бя известного бунтовщика (меня) и, наслушавшись его советов, якшается с бродягами, подобными Ермакову, явившемуся при государственной реформе в виде стельки... Потопил сестру, упомянув попечительнице, что, слушая бунтовщика, она хочет превратить дочь градского головы в башмачницу и отзывается про дочерей Ивана Ларивоныча, известного по бакалейной части, что якобы она обломала «все ноги», покуда выучила его верзил-дочерей французскому кадрилию... Потопил Ермакова, упомянув некоторой нетрезвого нрава девке, искавшей от Ермакова законного удовлетворения с угрозами погубить навек перед целым светом и начальством, что ее подданный стал шататься «вон куда», чтобы она пошла и открыла барышне самой все начистоту... Штатный смотритель, узнав, что Ермаков шатается в женское училище и пересуживает о смотрителе, говоря, что он, смотритель, пьяница и что, возвращаясь с недавних крестин, умолял жителей втащить его на колокольню, дабы оттуда осмотреть местность и таким образом отыскать свой дом, – узнав это, смотритель немедленно разорвал бумагу о башмачном мастерстве и вычел у Ермакова из жалованья десять рублей серебром за утрату казенной линейки и за разбитие чернильницы...

Все было поглощено, задавлено, уничтожено бесследно.

Там, где робкая мысль только чуть-чуть пробивалась на свет, там, где впервые задумывались о настоящей пользе, начинали интересоваться первую дельною книгою, неожидан-

но появилось что-то такое, что совершенно не хочет иметь никакой мысли; стали врывать пьяные девки с криками: «не дозволю!.. у меня ребенок!.. не допущу этого! в суд позову... не погляжу!..» Стали вламываться благотворители и попечители, натягивая со зла бразды своей власти до невозможной степени, подобно тому как кучер, обруганный баринном за то, что заснул на козлах кареты, срывает зло на лошадях, терзая вожжами их рты и что есть мочи отхлестывая кнутом на протяжении пяти улиц. Поминутно стали слышаться восклицания: «Позвольте узнать, на ка-к-ом основании вытребована вами губка, когда уже ассигновано было на оную еще в 18.. году?..» – «Позвольте узнать, по какому случаю обозвана моя дочь «верзилою», а?.. Да ты-то кто-о? а-а?» Везде, во всем, не исключая и первых четырех правил арифметики, открывались упущения, нерадение. Обо всем немедленно нужно было довести до сведения начальства, необходимо было «не потерпеть» и т. д.

– Побираться, побираться – больше нечего! Больше нечего! – твердила матушка, не зная, что придумать. – Исправник приходил, какво это! Вася! Каково это мне-то?.. «Что ваш сын делает? Знаете ли, что его ожидает?.. Я этого не спущу!.. Я уберу его подальше...» Что тут делать?.. И зачем ты только этого сочинителя... О господи!

Мне почему-то пришла в голову мысль о старце и о пустыне. Пожалуй, что он был прав, изображая, посредством забивания кольев под кожу и язв, все эти ужасные муки, проис-

ходящие от бессмысленных, но многочисленных сил, прочно и плодovито разросшихся в темноте русской жизни, разорванной ими на клочья и обессиленной.

Я не мог ничего посоветовать матушке, но видел, что виноват – я.

– Да пригласите вы их на пирог! Ей-богу, хорошо будет! – с полнейшею искренностью посоветовал Ермаков. – Или уж я брошу к вам ходить, пусть он!.. Бог с ним!

– Нет, нет! – оказали матушка и сестра. – Нет, что вы!

– Право, я готов! Эдакие мучения переносить!

– Нет, нет!

Матушка склонялась более на сторону пирога, и, должно быть, она имела основание верить в его целебные свойства, потому что, не переставая убиваться и вздыхать, стала сообщать кое-что о закладе по этому случаю собственного са-лопа.

– Право, это очень им будет по вкусу, – укреплял ее веру Ермаков. – Слава богу, помучился я от них на веку... Знаю их натуру...

Я ничего не знал, но невольно почувствовал теплую веру в пирог.

«Молча ехали мы с Иваном Николаичем домой. В голове стоял какой-то хаос, безотрадный и тягостный. Все виденное и слышанное мною представлялось мне в виде беспредельного пространства непроницаемой тьмы, в глубине которой непробудным сном покоятся массы человеческих существ. Десятка два-три мух с слабым, едва слышным жужжанием шныряют в пространстве, тревожа тьму, тишину и сон... Мухи эти, тощие, измученные, доведенные до степени «ниже травы, тише воды», могущие издавать только слабое жужжание, которое тем не менее делает сон человеческих существ тревожным, заставляет шевельнуть рукой, чтобы отогнать или открыть глаза, оглядеться. Но редкие, слабые движения эти немедленно прекращаются влияниями каких-то, как сокрушительная буря, действующих во тьме сил, которые мгновенно комкают человека, как тряпку, вбивают его в самую землю, уничтожают в своей стихийной вражде всякий раз по крайней мере половину летающих мух.

Картина выходила безотрадная, и скоро я действительно увидел в ней упущения. «А пироги-то?», «А гроба-то?» вспомнилось мне. Выходило, что во тьме существует уже такое движение, такая жизнь, что люди, обитающие в ней, уже сумели изобрести и средства к умиротворению темных сил. Оказывается, что там, в глубине мрака, они угощают друг

друга пирогами, думают о том, какую именно начинку в пироге любит та или эта сокрушительная сила, перетаскивают какие-то гроба и кое-как чего-то добиваются, стало быть – живут.

Это соображение перенесло меня от отвлеченных рассуждений о виденном и слышанном к самим фактам. Мне пришло в голову, что, действуя посредством пирога, матушка хотя и достигнет, быть может, успокоения и убедит, пожалуй, после продолжительнейших стараний даже Семена Андреича в том, что «это действительно не тот сочинитель» и что вообще Семен Андреич прав, и сестра, быть может, очнется от ужаса и снова через много лет будет иметь возможность заявить о пользе башмачного мастерства; но кто поручится, что действие пирога не будет вновь внезапно разрушено налетом какой-нибудь другой, тоже разгуливающей во тьме силы, которую будет олицетворять не «ндрав» Семена Андреича, а какое-нибудь другое, не менее веское и прочное русское свойство?

Внимание мое остановил также и прощоновский гроб. «Неужели, – думалось мне, – такая простая мысль, как мысль о том, что всякий голопятый прощоновец не только имеет право на получение теплого полушубка, но даже обязан его получить уже потому, что родился человеком, а не петухом и не собакой, которые, как известно, получают что им «следует» в исправности, неужели такая простая мысль должна укрепляться на пятнадцатилетнем созерцании кольев, на

устремлении взора в неизвестное будущее загробное деяние, связывать себя с гробами, могилами, плестись путями окольными, не сознавая себя правою и рискуя быть мгновенно подавленной, чтобы уже не воскреснуть, или воскреснуть, но с мыслью о вреде теплых полушубков, с необходимостью вновь предаться «земле», которая на сей раз может рекомендовать только остроги, тюрьмы, Сибири, каторги и тому подобные вещи? Неужели мысль эта не может быть осуществима более простым и прямым путем, более кратким и здравым суждением, которое бы объясняло разницу между загробной жизнью и полушубком? Неужели на земле, в самом деле, нет возможности провозгласить открыто, очистив от могильной тьмы, о законности желания сытости и тепла?..

Соображения эти передал я Ивану Николаичу, который тотчас же согласился, что в данном случае идти в Сибирь за гробокопательство, в сущности заботясь только о полушубке, вещь – не резонная и большое... недоразумение.

Формулируя наши соображения, мы пришли к тому окончательному заключению, что Ивану Николаичу, как человеку, не покидающему намерения быть гласным в некотором «земном» явлении, именуемом земством, не будет предосудительным потребовать от лица своих избирателей, во-первых, – хлеба, которого мало, и, во-вторых, – школ, которые дрожали на гроше⁸, умирали с голоду вместе с учителями и

⁸ ...школ, которые дрожали на гроше... – Имеются в виду земские школы – школы для деревенских детей, созданные по «Положению о начальных народ-

которые должны быть устроены теперь по совести.

Иван Николаич высчитал даже и деньги и разыскал их весьма достаточное количество.

Так мы доехали до Двуречек.

В классных окнах училища светился огонь, чего никогда не бывало в эту пору. Войдя в переднюю, я нашел какого-то чужого кучера, сидевшего за самоваром. При появлении моем он поднялся, поставил блюдечко и сказал:

– Вы учитель будете?

– Я...

– Ну барин извинялись, что поместились у вас... Больше ночи не пробудут... Приехали они гласных выбирать... Ну в волости им не подошло остановиться, дуже холодно... чистоты нету... всего одну ночку... Извинялись...

Я не заявил ни малейшего протеста. Меня занимало то, что я увижу въявь наши «земные» надежды, о которых мы с Иваном Николаичем только что толковали так задушевно.

– Они не задержат, – продолжал кучер, следуя за мною и остановившись в дверях моей комнаты. – Гласного они с собой привезли, стало быть – духом оборотят выборы.

– Как гласного с собою привезли? Его ведь выберут завтра мужики.

– Его и выберут-с... Так точно.

ных училищах» от 14 июля 1864 года. Программа школы сводилась к обучению элементарной грамоте и «утверждению в народе религиозных и нравственных понятий».

– Почему же именно его? Может, у них есть свои?

Кучер, казалось, не понял.

– Да потому выберут, что господин землемер завсегда при барине... Он за барина, ну а барин, само собой, за него... «Я тебя сделаю...» сами сказывали... «Ты – мне, ну и я – тебе...» Ну и к свадьбе дело подходит...

Кучер почему-то нагнулся к моим калошам, взял их и переставил за дверь.

– Сватается землемер-то... Протопопову дочь берет, – продолжал он: – ну оно к свадьбе и лестно звание... да-а! Ну и тоже за барина потянет, в случае чего... Они духом оборотят это дело! – заключил кучер, видя, что я не обнаруживаю намерения разговаривать.

«Земные надежды» начинали рисоваться мне в каком-то странном свете.

Иван Николаич один занимал меня.

Рано утром, когда «господа», то есть посредник и землемер, еще почивали, я пошел к нему и объявил о их приезде.

– О? – сказал, как-то побледнев и как бы испугавшись чего-то, Иван Николаич.

Я навел снова разговор на предметы вчерашней дорожной беседы; Иван Николаич поддакивал, как-то суетясь, обирая полы руками и, повидимому, растерявшись. Однако скоро он оделся и вместе со мной пошел к волости. Здесь уже была толпа: кто сидел на земле, кто на телеге, кто «так» стоял у крыльца или у заборчика и толковал о своих делах. Оказа-

лось, что толпа эта ждала уже несколько часов, жаловалась на мокроту (был дождь) и обнаруживала нетерпение.

Иван Николаич не переставал волноваться и шепотом сказал мне, в ответ на мое предложение потолковать с народом, «что надо бы, да... не вдруг!»

Час или два протолклись мы на месте. Возможность разрушить матушкин пирог, помимо темных сил, имеющих разрушить его только впоследствии, удерживала меня от вмешательства, которое могло уничтожить дело пирога в самом начале, не принеся делу полушубков существенной пользы. Меня не знали и слушать меня не стали бы...

Часа через два старшина объявил, что «скоро будут», а теперь пошли к барыне кушать чай. Чай кушали тоже не менее двух часов, в течение которых толпа промокла, осоловела и как бы задремала, поеживаясь плечами и посылая по временам кому-то «в рот» галку, шило, муху и даже пирог с кашей. Был в течение этого времени момент, что Иван Николаич как бы что-то надумал, стремительно запахнувшись и кашлянув, как бы вознамерился что-то предпринять, но вдруг нагнулся к моему уху и шопотом рассказал историю о том, как в некотором уезде мужики единогласно выбрали одного гласного, а потом сами же и высекли его, после чего присутствовать в собрании он не мог. Оказывалось, что там, где, по мнению Ивана Николаича, сватевья, зятевья и шуревья оцепили мужичий мир со всех сторон, изобретены ими не хитрые, но тем не менее весьма существенные «средствия»

к устранению от себя всякого вреда, могущего произойти из мужицкого лагеря. Анекдот был очевидно невероятный; но Иван Николаич, не желая на старости лет быть высеченным, запахнувшись, попятился назад, хотя и надеялся, что, «подумавши хорошенько, надо бы... А вдруг-то, брат, нельзя!»

Наконец «прибыли». Все проснулось, сгрудилось у крыльца волостного правления в кучу и долго, долго мочило свои головы, уже не прикрытые шапками...

– Господа! – возглашено было, наконец, с крыльца. – Вы должны произвести выборы гласных в предстоящее земское собрание... Конечно, я не имею прав... Это – дело ваше... но с своей стороны я бы полагал, что Леонид Петрович может быть надежным вашим представителем, и поэтому, кто согласен покончить избранием Леонида Петровича, надевайте шапки и ступайте по домам! – заключил оратор внезапно и громко.

– Идем, ребята, по домам!.. – гаркнул старшина, как бы бросаясь от крыльца...

– Эй! ребята! По домам! – загудело в промокшей толпе.

Все зашевелилось, стало надевать мокрые шапки, тронулось, разбрелось и расплзлось по грязи, хряская лаптями, скрипя телегой.

– Готово-о-о! – слышалось где-то...

– Ай будя?

– Будя-а-а!

– Шаба-аш!

Иван Николаич плюнул, крепко-накрепко запахнулся, еще плюнул и нахлобучил картуз на самые уши.

Тут уж я не вытерпел: – «настрочил»-таки корреспонденцию. А скоро пришлось настрочить и другую: «Мироновская» община была предана суду».

На этом дневник оканчивается. – Внизу приписано другими чернилами:

«...Почти год после отъезда моего из города ***, где пришлось оставить и сестру и мать – оставить на произвол темных сил, – не имел я от них такой тягостной вести, как та, которая пришла сегодня: «Вася! Вася! – пишет мне сегодня сестра, – я не могу, не могу больше! Возьми меня, возьми нас отсюда!...»

Что мне делать?..»